

A portrait of a man with a full beard and mustache, smiling warmly. He is wearing a light-colored trench coat over a dark shirt. The background is a soft, out-of-focus grey.

Когда-то Каледина окрестили
родоначальником “чернухи”,
а теперь проходят
в школе и в институте.

Сергей Каледин
Черно-белое
кино

CoRpus

Сергей Каледин
Черно-белое
КИНО

Рассказы



издательство **АСТ**

Москва

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К17

Художественное оформление и макет **АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО**

Каледин, Сергей

К17 Черно-белое кино : рассказы / СЕРГЕЙ КАЛЕДИН. — Москва : АСТ : CORPUS, 2013. — 336 с.

ISBN 978-5-17-080486-3

Литературный дебют Сергея Каледина произвел эффект разорвавшейся бомбы: опубликованные "Новым миром" повести "Смирненное кладбище" (1987; одноименный фильм режиссера А. Итыгилова — 1989) и "Стройбат" (1989; поставленный по нему Львом Додиным спектакль "Гаудеамус" посмотрели зрители более 20 стран) закрепили за автором заметное место в истории отечественной литературы, хотя путь их к читателю был долгим и трудным — из-за цензурных препон. Одни критики называли Каледина "очернителем" и "гробокопатель", другие писали, что он открыл "новую волну" жесткой прозы перестроечного времени. "Меня интересовал человек с неразработанным голосовым аппаратом, который сам о себе ни рассказать, ни написать не может", — объяснял писатель, почему героями его становились весьма непривычные персонажи. Эту же линию продолжали и следующие книги Каледина. В "Черно-белом кино" рассказываются невыдуманные истории невыдуманных людей, с которыми судьба тем или иным образом свела писателя. И рассказываются они в лучших традициях русской классики.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-080486-3

- © С. Каледин, 2013
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2013
- © ООО "Издательство АСТ", 2013
Издательство CORPUS ®

Содержание

<i>Людмила Улицкая. Вместо предисловия</i>	7
Третья полка в итальянском вагоне	13
Соседка	31
Почему я живу в деревне	47
Садовые товарищи	59
Томочка	80
Кроха	92
Маки на Монте-Кассино	108
Три двадцать в кассу, господа!	125
Чехол для люля	144
Ингерманландка	163

Аллея Руж	182
Толмач	220
Авиатор	244
Родные, прощайтесь	257

<i>Екатерина Данилова. “Каледин придумал новый жанр...”</i>	<i>285</i>
---	------------

Вместо предисловия

Большее двадцати лет тому назад в журнале “Огонек” вышел мой рассказ, один из первых в моей жизни. Спустя несколько дней мне позвонил известный писатель, автор замечательной повести “Смирненное кладбище” Сергей Каледин и сказал:

— Мне понравился твой рассказ, а у тебя еще есть?

— Есть, — ответила я.

— А где ты живешь? — спросил Каледин.

— На Аэропорте, — ответила я.

И через двадцать минут Сергей Каледин сидел на кухне и пил чай. Моя первая книга на русском языке с легкой руки Сергея вышла через два года.

Когда меня спрашивают, кто мои учителя, я всегда отвечаю: Сергей Каледин. Я действительно очень люблю этого писателя за его редкий слух к живому языку, его переливам, поворотам, шероховатостям. Видение и слышание жизни, полное отсутствие нравучительности, добродушное остроумие и незлобивое хулиганство — чудесные обаятельные черты его прозы. И его личности. Две ипостаси одного человека — писательская и человеческая — полностью слиты, и оттого рождаются и искренность, и полнота. Может, высоколобый кри-

тик не найдет в произведениях Каледина второго слоя, той глубины содержания, которое открывается только при исследовании текста структуралистами, лингвистами и прочими профессорами, получающими свои ученые степени, до атомов разбирая зубодробительные тексты.

Сергей Каледин — мой учитель: он дал мне прекрасный урок отзывчивости и щедрости. Его телефонный звонок в конце 80-х научил меня хорошему профессиональному поведению: многие годы, выезжая за границу для встреч с издателями, я таскала из России чужие книги и чужие рукописи. Иногда из этого выходил прок.

Прошло много лет — Сергей Каледин не меняется, он все тот же парень, который несетя помогать друзьям, сражаться с несправедливостью. Он верный, щедрый и предвзятый. И никогда не стремится к объективности. Да к черту эту объективность! Перед нами книга, в которой все про любовь к жизни во всех ее проявлениях — к родственникам и соседям, к друзьям и прохожим, к ушедшему времени и его атрибутам. И ни капли объективности! Спасибо, Сережа!

Людмила Улицкая

Черно-белое кино

Жизнь моя, кинематограф,
черно-белое кино!

Ю. Левитанский

Третья полка в итальянском вагоне

... И мир опять предстанет странным,
Закутаным в цветной туман!

А. Блок

Инга Фельтринелли давала бал. Экстравагантная, шумная, не совпадающая со своим возрастом, в короткой юбке, на высоченных шпильках, с бокалом в одной руке и сигаретой в другой, она встречала гостей. Народ шел отборный: белозубый, звонкоголосый — богатый. Малой причиной сабантуя был и я: весной 90-го Инга издала “Смирненное кладбище” и осенью позвала на презентацию в Италию. Над озером летали метровые в распахе крикливые чайки. Ждали давнюю товарку Инги — вдову Ренато Гуттузо, точнее — последнюю его любовь. Подоспела и она. В открытом авто, за рулем. Те же дела: короткая юбка, каблуки, шелковый жакет на крючочках, по-над левой грудью изумрудная брошь, громкий мяукающий голос. Инга поманила меня сухопарой лапкой с фиолетовым маникюром, я поцеловал гостье ручку и попытался прикинуть, сколько ей лет, но ариф-

метика не работала. Инга тщи́лась на всех языках вовлечь меня в разговор, но плюнула на это дело и приспособила ко мне переводчицу, молодую, старательную, но некрасивую, в дурных очках, Клаудию, Клаву.

Инга сказала вступительное слово. Я в это время отлеплял от подошвы обрывок ремонтной квитанции, замеченный в зеркальном полу ресторана моим редактором, соседом по столику Франческо Каталуччо, тишайшим благодушным гигантом, полонистом в работе и в жизни: Патриция, его невеста, — четвертая за нашим столиком — миниатюрная красавица с длинной как у паненки косой, была активисткой “Солидарности”, подругой легендарного Адама Михника. Я рвался к ним в душу, но они лишь трохе разумели по-русски через польский. Прозвучала моя фамилия — Инга жестом показала: приподымись. Мне похлопали, и вступила музыка. В центре зала соткалась пара — блондинка в голом платье и усатый красавец, похожий на грузина, — танцоры для завода гостей. Народ уже попил-покушал и потянулся плясать. И я, раздухарившись, пригласил Патрицию. Но она переадресовала меня к Инге. До такой фамильярности я еще не созрел и вытянул на танцплощадку “вдовицу” Ренато Гуттузо. На крутых выражах она по-девчачьи ойкала и легкими жестами, как мух, на всякий случай отгоняла приближающихся. Инга что-то крикнула старшему оркестра, и тот добавил музыке прыти. Я вошел в раж, крутил побледневшую партнершу по солнцу и против и под конец захватил ее борцовским смычком — спина к спине... Раздался треск крючков — изумрудная брошь сорвалась с насиженного места и, цокая, поскакала по зеркальному полу. Распахнутая “вдова”, прикрываясь как в бане, томно смутилась, народ ликовал.

Инга догнала брошь, помогла подружке восстановить порядок. И присела за наш столик, похлопала меня по плечу: “Браво!” Мы выпили. Пользуясь случаем, я предложил ей купить у меня и “Стройбат”: тема гадостная, хуже кладбища, вдобавок “Стройбат” долго был в запрете. Но Инга на провокацию не повелась: хватит с тебя и “Кладбища”, не наглей. Чао, бамбино!

На следующий день по утренней росе я в одиночку на электричке поехал из Милана в Турин к директору издательства “Эйнауди”, которому меня в Москве рекомендовал Евгений Михайлович Солонович, знаменитый переводчик с итальянского, лауреат премии Данте. Директор был на месте, мне не удивился, позвонил в Москву Солоновичу... И вечером я вернулся в Милан с договором и авансом. Теперь вперед! Эввива, Италия ла белла!

Быть в Италии без языка — беда. Паузы в культурных мероприятиях Клава заполняла магазинами, от которых я отбрыкивался четырьмя копытами. Клаву это удивляло и обижало: если я плохо одет и у меня есть деньги, почему я не хочу быть хорошо одетым? Если просто жмусь — почему не хочу хотя бы посмотреть! Меня же интересовали пустяки: как итальянцы живут, чего хотят, чем дышат? Я всю дорогу понуждал ее общаться с населением: прохожими, студентами, продавцами на рынках, полицейским... На полицейском она забастовала в голос. Я плюнул, подошел к карабинеру и дружественно постучал пальцем по кобуре, призывая к разговору. И чуть не получил рукояткой нагана по башке. Короче, Клава страдала, но терпела. О том, что у нее ко мне есть корысть, я понял позже.

В обход маршрута, который составила Инга, она повезла меня в деревню к дяде-священнику. Мне полегчало

от одного слова “деревня”, хотя по сути это был крохотный старинный городок с церковью посередине, неработающим фонтаном, булыжными кривыми улочками. Стены домов до черепичных крыш были облеплены плющом, захватывающим фигурки флюгеров.

С пологого склона, покрытого виноградниками, спустилась скрюченная бабка. Она погоняла осла, нагруженного хворостом. Вот она, моя Италия! Только рогатых скотов не хватает. Ан нет! Парочка чистеньких буренок паслась на травке перед виноградниками, глухо позвякивая колокольцами, похожими на сплюснутые маленькие кастрюльки.

Падре Лучано не было — он причащал больного в соседней деревне. В его просторном распахнутом доме нас встретил огромный ворон с кольцом на мощной лапе. Он вразвалочку, приволакивая крыло, бродил по длинному столу в кухне между бутылок, несуетно поклевывая крошки.

— Покакал, — хрипло сообщил ворон.

Я посмотрел — действительно покакал.

— Дай ножку, — попросила Клава.

Ворон протянул окольцованную лапу, как дама для поцелуя.

На серебряном разрезанном кольце стертая гравировка “спаси и сохрани”. Такое же колечко было и у Веры Борисовны Бахматовой, старосты церкви Покрова Божией Матери под Можайском, где в конце 80-х я работал истопником. Вера Борисовна мечтала, чтобы и у меня было такое же кольцо, когда я наконец покрещусь и повенчаюсь с женой. У нее был свой несокрушимый резон: “Машина у тебя дряблая. Не приведи Господи, разобьешься на саше — мне помолиться некому: у тебя ангела нет на небесах”.

Вскоре на велосипеде в сутане прикатил падре Лучано. Переоделся — здоровенный загорелый старик в джинсах — и сразу повел в подвал слушать молодое вино. Я приник ухом к необъятному дубовому брюху трехметроворостой бочки: внутри шевелилось вино — булькало, вздыхало, мурлыкало...

У себя на даче я тоже занимался виноделием. Дом был заставлен — не пройти — разноцветными ведерными бутылками с плодово-ягодным вином. Пузатые емкости тянули вверх раздутые резиновые руки. От запаха у меня кружилась голова и не слушалась разума. Среди ночи я вскакивал, будил жену: мне казалось, что вино замолчало — перестало бродить. Мы терли бутылкам бока, как обмороженным, натягивали на них кофты, телогрейки.

У входа в церковь висела памятная доска односельчанам, погибшим в 40-х на русском фронте. Парты были сдвинуты к стенам, на каменном полу толстым слоем сушились распухшие восковые початки кукурузы, касаясь щиколоток Христа на распятии. Немолодая красивая синьора деревянной лопатой шерудила урожай. Падре приобнял ее за плечи.

— Консорте? — с умным видом поинтересовался я. — Супруга?

Падре опешил, вопросительно посмотрел на племянницу: кого привезла? Клава покраснела: “Дядя — католический священник”.

Чтобы снять напряг, я рассказал про свою работу в церкви.

Однажды после службы, когда все церковные разъехались, Вера Борисовна всполошилась: “Сере-ежка!.. Беги



*Настоятель Храма Покрова Божьей Матери
в селе Алексине под Можайском Владимир Васильевич
Шибяев и староста той же церкви Вера Борисовна
Бахматова, конец 80-х годов.*

в алтарь — огонь забыли!.. Сама бы потушила, да бабам в алтарь нельзя”.

Я понесся в церковь, занес ногу в алтарь..

— А ты креще-еный?!

Я замер.

— Господи! Батюшка узнает — выгонит. — Вера Борисовна отстранила меня, перекрестилась больше нужного и, пригнувшись, юркнула в алтарь.

— Батюшка приедет — пожалуй, как ты в алтарь шастаешь. — Это Шура, нищенка-полудурка, которую Вера Борисовна спасла от голодной богадельни, приютив у себя в сторожке, и которая теперь отравляла ей жизнь, ибо стала батюшкиным шпионом.

— Ты еще и матушке пожалься, — передразнила ее Вера Борисовна. — Ступай отседова, Шура! Не доводи до греха. Мне с тобой бодаться не-под года.

Ворон был сердит. Я протянул ему русскую монетку, он незаинтересованно отвернулся. Потом резко цапнул ее и проскрипел: “Грация”. Ворон прилетел сюда с обозом казаков генерала Краснова. Охотясь на партизан, казаки старались местных не трогать. Когда в конце войны казаков выводили из Италии, ворон остался в деревне: ему повредила крыло собака, он стал пешеходным и лететь за своими не мог.

Падре Лучано, радостно потирая ладони, приступил к главному — достал тетрадь: воспоминания про казаков. В записке у него хранились еще записки адъютанта Крас-

нова, но эту рукопись он пока не показал. Падре хотел, чтобы я, родственник атамана Каледина, занялся историей генерала Краснова. Племянница переведет, я издам в России, потом в Италии — мы все прославимся. Я отказался: про казаков уже написал Солженицын в “ГУЛАГе”; кроме того, атаману Каледину я всего лишь однофамилец. Падре Лучано обиделся на меня и даже не повел показать трактир, в котором квартировал сам Краснов.

По дому падре Лучано с шумом, по-русски, носились разнокалиберные дети. Я, забыв про “супругу” в церкви, чуть было не спросил его:

— Ваши?

Но Клава меня вовремя опередила:

— Дети пришли на занятие по катехизису.

Она уже охладела ко мне и следующей ночью в Венеции сидела в гондоле нахолившись. Я попросил гондольера, великовозрастного Ромео, сплавить на широкую воду и подкрепил просьбу денежкой. Мы выбрались на простор и поплыли по Большому каналу. Подсвеченные волшебные дворцы по сторонам казались игрушечными. Мы прижались к берегу. Сказка отражалась в спокойной воде. Редкие ночные катера поднимали невысокие волны, длинные усы которых беспрепятственно разливались по мраморным полам пустых вестибюлей. Так не бывает!

В билет входили неаполитанские песни. Где вокал?

Клава сварливо заметила, что я веду себя неделикатно, но вопрос перевела.

— О’кей, — кивнул “Ромео” и развернул нас навстречу песням.

На водной глади перед пристанью под прожекторами сучилась стая лодок, как на собрание. Певец запазды-

вал. В гондолах начался ропот на русском языке. Наконец из дальнего канала вынырнула шустрая лодочка и помчалась к нам. В ней стоял, держась руками за специальные поручни, низенький толстый лысоватый мужичок в поношенном черном костюме с галстуком, очень серьезный и торжественный. С места в карьер на всю акваторию он грянул “Санта Лючию”. Да так вдохновенно, что под конец, раскинув руки крестом, чуть не выпал за борт.

Весь следующий день я ходил по городу один и набрел на совершенно сухопутную Венецию. Морем не пахло. В пыльном, выжженном солнцем дворе расхристанные мамы пасли молодняк. Иногда они изымали приплод из колясок и, не стесняясь меня, по-цыгански, кормили грудью. Бездельные пацаны гоняли в футбол. На воротах стоял толстый мальчик в очках. И меня дворовые хулиганы в детстве за жир ставили на ворота, пока бабушка Липа не пресекала безобразия. Мужики шумно играли в карты. На задворках на кирпичах вместо колес догнивал ржавый “фиат”. Из качелей вывалилось дитя и заорало. Толстая мама, ругаясь, поспешила на помощь. Из верхнего окна высунулся мужик в майке, свистнул картежникам и, корча страшные рожи, стал отчаянно жестикулировать, тыкая пальцем за спину, где мелькало злое женское лицо. Кинул деньги. Мужики подобрали взнос и подались за вином. Боги мои, где я?! Дома? В детстве? В 1-м Басманном? Или “Амаркорд” везде одинаков?

Во двор металлическим боком выходила автомастерская; я подошел посмотреть, как работают итальянцы. Слесарь в желтом комбинезоне улыбнулся мне: какие трудности? Никаких, я пожал плечами. Рядом пожилая синьора с сумкой, из которой торчала зелень, набирала

код подъезда, но вдруг стала оседать. Я подхватил ее, опустил на землю — и к мастеровым: воды, телефон, “скорую”! Все обошлось, тетя очухалась. Слесаря накатили мне вина, спросили, не нужно ли чего? Как не нужно! Все нужно! В Москве голяк! “О-о! Мо-оска! Москва!..” Мне подарили б/у-шные камеры, карбюратор, шаровые опоры. И, расщедрившись вконец, выкатили две почти новые покрышки..

Отвальную в Милане я намеревался устроить в ресторане, но Франческо Каталуччо окоротил мою борзость: “Для чёго выдавачь пенёнзы?” Пьянку устроили у него дома. Над письменным столом, за которым гуляли, висели фотопортреты — польский Папа и пожилой строгий дядька в кепке, похожий на рабочего, — писатель Витольд Гомбрович.

В Париж я уезжал злой: хотел в последний день хоть краем глаза взглянуть на обещанную “Тайную вечерю”, а Клава обманом загнала меня на крышу Миланского собора. Мы поругались. Провожал меня Франческо. Проводник наотрез отказался впустить багаж. Франческо надумил: дай денег. Мы с трудом втащили тюки в купе, соседи сдержанно роптали. Франческо сверил мое место с билетом, билет ему чем-то не понравился. Поезд бесшумно тронулся.

— Ключ под вытерачкой! — крикнул вдогонку странные слова Франческо.

Я выпил сонную пилюлю и рухнул в люлю.

С детства я мечтал познакомиться с Богом. Дома его не было, в школе тем более, а позже мне было не до него.

Потом стал жить на даче. Неподалеку церковь. Много лет я ходил вокруг нее, а когда заглядывал внутрь, ничего не понимал: служба шла в основном не по-русски. Осенью 86-го ехал я с дачи в Москву. Возле станции “Партизанская” знакомая старушонка в черном волокна две сумы.

— Что невеселая, Вера Борисовна, кто помер?

— Батюшка новый кочегара моего Сашеньку Иглицкого выгнал. Вишь ты, еврей он ему оказался! А Иисус-то наш Христос татаринном, что ль, был? Вот мороза вдарят, котлы встанут, фрески посыпятся! Сыщи ты мне, Сережка, в Москве мужичка какого-нито завалищего в кочегары, хоть слабоголового...

Вера Борисовна везла гуманитарную помощь отцу Владимиру, предыдущему батюшке, изгнанному из церкви за отказ отпевать усопшее руководство страны. Отца Владимира запретили в служении — вывели за штат, а теперь и вовсе взяли за горло: или в тюрьму, или за рубеж — на выбор.

В Москве я стал активно искать кочегара, но безуспешно — подходящие мужички перевелись. Прикинул: а ведь я сам Богом интересовался. И поехали мы с Верой Борисовной в Рузу оформляться. Там опешили: такой здоровый — и в сторожа? Но Вера Борисовна отстояла мою кандидатуру: “Он только с виду полный, а так — мало-хольный”. Я дал подписку, что не буду “принимать участия в религиозно-церковных отправлениях”.

Прижился я быстро. Чтобы не одичал в пустой деревне, Вера Борисовна стала потчевать меня балдой — вином из прокисшего варенья, настоянном на распаренном пшене. Балда была хороша, почти без градусов и придавала нашей одинокой жизни усадебно-помещичий привкус.

Вера Борисовна показала, где хранит церковную черную кассу — в трехлитровой банке в кадушке с квашеной капустой. Случись чего — отдать заместительнице, никому другому. Я донимал ее: “А если бандюган объявится: давай деньги — убью!” Вера Борисовна злилась на мое скудоумие: “Он же не дурак! Знает: не дам. Поорет — уйдет. Ты, главное, не разболтай”.

Тогда я стригся наголо и с бородой походил на чечена — все было нормально, а тут недоглядел: оброс, и волосы на висках стали предательски завиваться в пейсы. Вера Борисовна насторожилась: не иудей ли я часом? Я виновато шевельнул головой — в четверть кивка — соответственно четверти моей еврейской крови. Вера Борисовна схватилась за голову: “Батюшка узнает — выгонит!..” Но утрашаться надолго она не умела — мы благополучно служили дальше.

Прошло время. Отец Владимир уже жил во Франции. След его затерялся. Веру Борисовну за ревностное служение выгнали из церкви. Она в грустях доживала свой век в хибаре на станции Силикатная. Из радостей жизни, кроме Бога и фотографии отца Владимира — она висела рядом с иконой, — у нее осталась правнучка Мананка, нажитая внучкой от залетного кавказца. Вера Борисовна поговаривала о смерти: чтоб все было тихо, без мучений, не хлопотно — очень уж устала от жизни. А более всего мечтала о встрече с Ним.

Меня напечатали, перевели, стали приглашать за рубеж. И Вера Борисовна решила: попросила меня разыскать отца Владимира. Старухи снарядили мне подарки:

полотенчики, вышивки, сало... Вера Борисовна затолкала в баул небольшой самовар: “Спроси от нас: может, вернется? Зябко без него”.

— Паспорт!

Я продрал глаза: люди в форме, рожи злые, тычут фонарем... Война!

Дрожащей рукой я нашарил паспорт, стал натягивать штаны.

— Во ист швайцер виза?!

— Зачем — швейцарская?! Я в Париж еду!

Пограничник врубил свет. Он стучал пальцем в паспорт, потом потянулся к кобуре. Соседи глядели на меня, как на врага.

— Геен зи ауз! Шнель! Вон из вагона!

— Не понял?.. — Но уже понял: не так поехал. Покупал билет я сам, без Клавы, кассирша дала подешевле — через Швейцарию.

На неверных ногах я потянул к выходу неподъемную поклажу, лямки оборвались, затрещал брезент... Свирепые погранцы брезгливо выкинули мой багаж — крышка покскакала в темноту по мокрому перрону. Поезд бесшумно покотил в Швейцарию. Подарочный самовар, втягивая битый бок, блестел под фонарем. Приехали! Станция Домодоссала.

Станционный смотритель, пожилой итальянец, взирал на мой изгон с сочувствием, помог собрать порушенный багаж, повел пить кофе.

На следующий день я приплелся в издательство “Фельтринелли”. Но Инга ко мне не вышла, она меня разлюбила.



Храм Покрова Божьей Матери в селе Алексине.

За издательскую измену, о которой ей донесли незамедлительно. Франческо в редакции не было.

Я стоял в шикарном предбаннике издательства неммым немытым просителем, охрана намекнула, чтобы подался с вещами на выход. И вдруг я вспомнил: “Ключ под вытерачкой”.

Франческо Каталуччо! Посланник Божий! Знал, что меня, скорее всего, заворотят на границе, — оставил ключ под ковриком. Приютил, невзирая на гнев начальницы.

И снова поехал меня провожать, чтобы самолично купить билет в объезд злополучной Швейцарии. Однако, тпру-у!.. Забастовка железнодорожников! Кассы закрыты. Но меня чудом узнал первоначальный проводник, вернувшийся уже из Парижа, и, взяв деньги, определил к товарищу в правильный поезд. Тот рассредоточил багаж по сусекам, чтоб не дразнить гусей, и пустил на третью полку.

Милая Франция! Дом родной. Здесь я бывал. Первый раз верхом на “Кладбище”, которое издало серьезное издательство “Сёй”, и потому визит был довольно церемонный. Зато второй раз я гулял по Парижу в полный мах: “Стройбат” купила у меня бывшая бунтарка, троцкистка, маоистка — короче, революционерка Марен Сель для своего доморощенного издательства. Муж Марен, богатей, летал два раза в неделю в Тулузу, где у него были заводы калийных удобрений. Жену обожал, безоговорочно поддерживая все ее начинания, из последних — усыновление двух детей из Чили и с Тибета. Поселила меня Марен в старинной квартире своего деверя в Латинском квартале. Квартира была бесконечная, с черной вековой матицей под высоченным потолком толщиной в полметра, с камином, в который я входил, почти не сгибаясь. Настроение было

праздничное: 89-й год, по телевизору расстреляли Чауше-ску — я ликовал: началось!.. Деверь был моих размеров. Марен, отменяя предрассудки, разрешила мне пользоваться его гардеробом. Но пользовался я только роскошным голубым халатом и очень удобными разношенными кроссовками. Сам деверь в это время путешествовал вокруг света на яхте с товарищем, мускулистым красавцем, фотографии которого висели в квартире повсюду, даже в туалете. Потом я узнал, что деверя с товарищем снял с яхты медицинский вертолет — оба-два были в коме. СПИД. В то время СПИД лечить не умели. Многие месяцы потом я ждал, когда он через кроссовки и халат накроет и меня.

Третий раз я был во Франции с культурной программой. Мне предложили месячную поездку по Франции — куда хочу. Я набрал полную колоду: тюрьма, завод Пежо, богадельня, сумасшедший дом, ферма.. Сопровождала меня опытная переводчица, очаровательная Каталина Бэлби. На первых порах я говорил, она переводила. Потом поняла, с кем имеет дело, и переводила без моего участия, ибо уже лучше меня знала, что я имею сказать.

Директор тюрьмы хвалился своей вотчиной. В одном зале практически обнаженные рецидивистки занимались аэробикой. Я попросил разрешения сфотографировать их. Они навели марафет — пожалуйста. В соседнем зале не менее пикантные преступницы исполняли томные восточные танцы. Директор тюрьмы — доктор психологии — предлагал мне для творчества на пару дней комфортабельную одиночку, правда, на мужской половине.

Попечитель провинциальной богадельни звал к себе — в тихий приют, где старикам к обеду положен графинчик вина. То же — и в дурдоме. Зря отказался! Директор за-

вода Пежо дал мне свою визитку: пообещал отпустить мне по себестоимости классное авто. А пожилой фермер после застолья, на ночь глядя, усадив меня за руль колесного трактора, повлек смотреть свое новшество — косматых низкорослых коров, которые круглый год паслись на пленэре, охраняемые лишь проволокой под малым напряжением. Как же тогда принимали нашего брата! Моска, Раша, Перестройка!.. И вино, вино!.. Благословенные времена! Мисюсь, где ты?

Багаж я оставил у Марен, а сам пошел на Рю да Рю, где главный православный собор. Отец Владимир? Шибаев? Живет в Мюлузе, у него там приход. Телефон? Пожалуйста.

На перроне Мюлуза меня встретил веселый, легкий парень на красном японском мотоцикле — сын отца Владимира, с серьгой в ухе и синим петухом на голове.

— Как жизнь, ирокез? Все живы-здоровы?

— Мама с Лялькой в Германию поехали. — Он ткнул пальцем в невысокую зеленую гору впереди. — В гости.

— А сам учишься или груши околачиваешь?

— Я инструктор по горным лыжам. — Он застегнул на мне шлем и опустил забрало, прекращая пустые разговоры.

Отец Владимир встретил меня радостно, но с напряжением. Будто ему неудобно за благополучие: дом, сад.. Да и я малость сник: кто я ему? Не друг, не брат... В придачу — нехристь.

— Ты в первый раз во Франции? — спросил отец Владимир.

— В четвертый, — похваляясь, ответил я и обмер: какого ж черта только сейчас его разыскал! Ведь так просто!

Из духовки раздался свист. В запеченной козлиной ноге торчал прибор типа отвертки — подавал сигнал о готовности мяса.

Я рассказывал про Веру Борисовну. Недавно она чуть не заморила себя лютым постом и тайком помирала в деревенской больнице. Меня чудом разыскала ее заместительница. Лешка-певчий набрал медикаментов в роддоме, где работал заводделением, и мы погнали в Тучково. Вера Борисовна лежала в вонючем бараке без сознания, дышала незаметно. Врача не было. Лешка долго не мог наладить капельницу: не попадал в вену — сосуды опали. В отчаянии он кольнул ее напропалую и — попал. Больные, колченогие старухи в тряпье сползались, как привидения, канючили: “Дай таблеточку...” После капельницы Вера Борисовна порозовела, открыла глаза, увидела нас и заворчала: “Только я к Нему собралась — тут вы опять!.. Снова меня на землю содите!”

Я вяло уговаривал отца Владимира вернуться в Россию: народ вроде очухался, религия встрепенулась..

— Отца Александра топором убили... — мрачно добавил отец Владимир, сбивая мой и без того несильный напор.

В ноги ему ткнулась небольшая белая кошечка с черной кипой на голове и розовыми голыми ушками, траченными еще подмосковными морозами. Он поднес ее к стене, забранной специальной рогожей. Кошечка прилипла как намагниченная.

— В Москву хочешь, Белка?

Кошка ответила тонким ультразвуком.

— Хочет.. Тоже эмигрантка.. — виновато улыбнулся отец Владимир. — Нет, Сережа, не поеду, поздно. Ношу нужно брать по плечу.

Разговор был окончен. Отец Владимир сел писать письма бывшим прихожанам — утром я уезжал. В саду закричал павлин. Ирокез повел меня купаться в самодельный прозрачный пруд, обсаженный березками и плакучей ивой. В холодной воде плавали крупногабаритные золотые рыбы. Они обнюхивали меня и равнодушно проплывали дальше.

На обратном пути меня не оставляла вязкая тоска по какой-то новой хорошей жизни, которая, по всему, должна бы наконец начаться, но ведь не начнется. Не только поп, ворон казачий русскоязычный из итальянской деревни и тот на родину не рвется, пропади она пропадом, русская сторонка! Достала всех. И вдруг вспомнил. Как-то на всенощной во время чтения Шестопсалмия, когда тушится паникадило и все, склонив головы, замирают в торжественном полумраке, прибежала Панка Кобылянская, бабка из соседней деревни: “Нюрка подыхает — не того нажралась!” Вера Борисовна Панку не любила за притворство, завистливость, сухие слезы. Но корова — дело святое, и мы сорвались спасать Нюрку.

Раздувшаяся корова лежала на боку и уже не мычала, лишь жалобно всхлипывала. Вера Борисовна по-бандитски отбила у пустой бутылки доньшко и горлышком засунула “розочку” Нюрке под хвост. Корова испустила протяжный задний выдох и стала на глазах худеть. Вера Борисовна брезгливо оборвала воющую Панку:

— Ты слезы-то не лей попусту, хвост держи, чтоб не поранилась.

— Какая вы умная, — восхитился я. — Вам бы образование.

— Следить за скотиной надо. — Вера Борисовна вытерла руки о Нюркин бок. — Хозяйство вести — не мудями трясти... — И передразнила меня: — У-умная... Дура столяросовая! Была бы умная — ушла бы с немцами... как девьки наши ушли.

Мы договорились с отцом Владимиром встретиться на следующий год в Иерусалиме: он возьмет меня в поездку по святым местам. Но я знал, что не поеду: какой из меня богомолец.

А Вера Борисовна все-таки к Нему ускользнула. Меня в Москве не было, так что мы даже не простились.

Соседка

Борья-я!.. Где мой сотовый?!
Это Тамара Яковлевна, соседка моя возлюбленная, шумит: опять внук ее с девками куда-то унесся и мобильник прихватил. Она пробралась сквозь малину к забору, где я мучился с бесконечным хреном, маленькая, похожая на пожилого спортсмена в тренировочном костюме, с огромным лопухом на голове под косынкой — от давления.

— Телефон потеряла. Крестины сегодня, а наши опаздывают, позвони, сынок, что стряслось? — Чтоб не стоять попусту, она выдрала здоровенный хвощ в половину ее роста.

— А как дитя назвали, по-нашему или по-ихнему? — Вопрос мой не праздный: внучка замужем за корейцем.

Соседка поправила лопух под косынкой.

— По-ихнему... Владиком... Ты хрен три против ветра и черняшку за скуло, иначе слеза прошибет.

С Тамарой Яковлевной, потомственной дворничихой, мы живем через забор треть века. Садовое товарищество наше пролетарского происхождения — все друг другу врут,

завидуют, перегрызлись в кровь, а у нас разлюли малина... Ни на меня, ни на свою многоярусную родню она ни разу не повысила голос, а если вдруг и возопит: “Куда, пропала?! Убью, сучара!..” — это на животный мир — курей, кошек или свинью Клаву, которые, видимо, что-то нарушили в ее огороде. Врать она брезгует, завидовать не умеет, вечером у забора, где основное наше общение, сетует: “Что ж они все заврались напрочь!.. Ведь это ж не упомнишь, где, кому, что наплел, а если собьесся потом — сраму-то!..” — Что-то Фроси давно не видно? — Кошки Тамары Яковлевны столуются и у нас.

— Всю зиму с Васькой гуляла, теперь опросталась, котят попрятала, знает: пока слепые, я их купую, а уж за ручку приведет — пусть живут. Прививку ей буду делать от беременности или Ваську ампутировать.

Когда-то она топила очередное поголовье, зарыла, утром услышала писк. Расколупала могилку — один живой. Теперь любимец. У Васьки с возрастом черный мех стал рыжеватый, как старый крашенный котик. Никакой кастрации она ему, разумеется, делать не будет и Фросю любезную не станет беспокоить. Вечерами она воркует с ними елабызным голосом: “Кисонька, девонька, мальчик усатый, пошли баиньки”. Как-то Фрося потерялась, Тамара Яковлевна переполохала всю округу: “Кто найдет серую кошечку в положении, дам денег”. Ее завалили котами всех мастей, среди них отыскалась и отощавшая Фрося.

Центровая ее проблема — Клава. На восьмидесятипятилетие Тамаре Яковлевне подарили живого поросенка, зарезать руки не дошли; теперь Клава — член семьи, второй год бродит по грядкам, похрюкивает, дети на ней катаются.

А Тамара Яковлевна сокрушается: “Ее не резать, ей боровка надо — петелька вон красная: гуляет...”

Свинку она назвала в память единственной подруги, покинувшей ее недавно. Клавдия Ильинична была культовым непререкаемым авторитетом для Тамары Яковлевны, ибо судьба Клавдии была значительнее ее собственной. Если Тамара Яковлевна в школу три года все-таки ходила, но работала дворником, то Клава без единого класса образования была старшим товароведом, сидела при Сталине как враг и вредитель, водила машину, играла на баяне и гитаре собственные песни, в молодости была красавицей — пережила четырех мужей (последний скромно повесился в шкафу, о чем Клава говорила с гордостью); родственников презирала за бессмысленность их существования. Умирала она на даче в одиночестве, ходила за ней только Тамара Яковлевна. На ночь Тамара Яковлевна селила у нее Фросю, но Клава кошек не любила, Фрося это чувствовала и мышей не ловила. Тамара Яковлевна печалилась, что “по живой еще Клаве мыши бегают”, а Клава ругала подругу, что Фрося на крыше рвет когтями рубероид.

На сегодняшний день Тамара Яковлевна всех любит равно, но предпочтения — племяннику Сереге, у него болезнь Дауна. Тамара Яковлевна пасет его с детства. Родители Сереги в Москве с другими детьми-внуками, нормальными. Серега должен был помереть давным-давно, но за ним такой уход — живи — не хочу. Со спины нас часто путают: он тоже лысый и также ставит ноги елочкой, правда, одет несравненно лучше меня. Когда кличут его — я отзываюсь. Серега зовет тетку Ня-ня. Он тихий, но если Тамара Яковлевна забудет дать ему вовремя дол-



Тамара Яковлевна Норова.

гоиграющую таблетку, Серега “норовит ее доской или зубом”. Тогда она несильно стегает его хворостинной. Болезнь племянника она плохо понимает, говорит: “Парень-то хороший, только отсталый”.

Писания мои соседка со мной не идентифицирует, полагая, что я — типа машинистки, порой кручинится: “Тебе бы, милый, на работу куда определиться, на машинке-то много не начеканишь, только пальцы собьешь”. А недавно прониклась. Принесла из уборной клочок газеты: “Дни рождения. 28 августа родились: Иоганн Вольфганг Гёте, поэт, мыслитель. Наталья Гундарева, актриса. Сергей Каледин, писатель”. И добавила: “Если к тебе ночью кто ломиться будет, кричи мне, прибегу, зарубаю, я ветеран”.

Каждое утро-вечер она, заложив руки за спину, неспешно, как помещик, обходит свое безукоризненное хозяйство. Меня не осуждает, даже если я зарастаю одуванчиками по уши.

Землю она любит, но ее страсть — грибы. Бегала в лес даже с годовалым Серегой, он еще не ходил. Бросит под куст, листочками присыплет — и вперед.. Но один раз Серега уполз. Тамара Яковлевна отыскала изгрызенного комарами, умолкнувшего племянника лишь на следующий день, за что была ругана зятем (зачем нашла?). Вместе с грибами она приносит из леса байки: “Иду, сопит ктой-то, глядь: в муравейнике кабан разлегся, прям как пьяный мужик”.

Она всегда при деньгах, раньше — тем более: собирала бесценный голубиный помет с чердаков, которыми беспрепятственно пользовалась как заслуженный дворник и ветеран трудового фронта. Меня ссужает любой суммой в любое время.

Однако по весне наша пастораль регулярно дает сбой. Банки с огурцами она на зиму зарывает в огороде, весной тычет землю шупом, как сапер, и не всегда сразу все находит. Несколько дней она неприветливая, смотрит на меня подозрительно, я стараюсь ей на глаза не попадаться. Затем подземные огурцы обнаруживаются, баночка-другая перебирается через забор ко мне — отношения возобновляются.

Сейчас она колет на зиму дрова, хотя у нее полная поленница, лопух выпал, про давление она забыла.

— Мам, ты куда мои очки убрала?!

Это кричит ее бывшая невестка Жанна, раскинувшаяся в шезлонге под ранним ультрафиолетом — обливная, бело-розовая, коротко стриженная, крашенная в модный синеватый цвет, издали похожая на Клаву, похрюкивающую неподалеку в кабачках.

— Куда-куда... — ворчит Тамара Яковлевна, — коту под муда. На комодке лежат... Засохнешь с вами без полива.

Экс-невестку Тамара Яковлевна уважает, ибо работа той была и опасна и трудна (офицер КГБ, стенографист на допросах), но не любит, считает, что она унижала мужское достоинство ее младшего сына. Жанну часто вызывали по ночам, возвращалась она томная, иногда с винным духом. Где была, чего делала — гостайна. Жанна вышла в отставку, устроилась распространителем косметики и развелась с мужем — одновременно, но отношения со свекровью сохранились: на даче она по-прежнему отдыхает. Кстати, к барщине Тамара Яковлевна никого никогда не принуждает. А сын переместился к стройной секса-

пильной блондинке — вдове Жене Петуховой. Вдова значительно старше сына, но Тамару Яковлевну это не смущает — перед глазами пример любимой Аллы Пугачевой. Со старшим сыном было сложнее. Юрка пил смертной чашей, потом по пьянке утонул, а через двадцать лет за мужем по проторенной реке навсегда уплыла его жена, пожилая красавица Светка, оставив записку, что всех ненавидит, кроме Тамары Яковлевны.

Тамара Яковлевна очень осторожна, не болтлива, подробности ее жизни я узнаю по крохам, но, когда я подбираюсь к ней с вопросами про былую, коммунистическую жизнь при Сталине, как ходила понятой при арестах (дворник, понятное дело) — виртуозно уклоняется, прям второе Громыко.

Я старший по улице. Моя обязанность — помойка. Она полна, наши рыть не будут из гордости, небрезгливая местная пьянь перемерла, а потому нужно срочно идти в деревню просить Колю-Боцмана, чтоб вырыл новую за двести у.е., зарыв одновременно старую, иначе лесник страшит заложить нас по полной в экологическую полицию.

Коля-Боцман мне не откажет, ибо в неоплатном долгу... Как-то весной я пошел за березовым соком. Глядь, навстречу дева из чащобы выходит — голая, стройная, но с побитой мордой и пошатываясь. Маха обнаженная!

— Дайте мне сока березового, — протянула ко мне тонкие беззащитные руки. — У меня лесные негодяи одежду украли...

Я привел Диану-охотницу к себе, дал плащ, опохмелил, узнал ее историю. Звали барышню, выпускницу Можайской женской колонии, Ларочка. У нее недавно зарезали сожителя. Она искала счастья в наших краях, познако-

милась с юным алкоголистом. На ту беду, ранней электричкой приехала из Москвы мать студента, обнаружила на своей постели разврат, побила Ларочку поленом и голую выгнала в лес.

А Коля-Боцман, сдвинутый, но крепкий деревенский мужик, давно просил меня устроить его на работу, или познакомить с барышней, или дать веревку. Я привел к нему Ларочку. Она ему приглянулась и вскоре переехала на ПМЖ. Жили они с Боцманом неплохо, кормились с богатой коттеджной помойки. Ларочка не скучала: когда они с Боцманом были в безалкогольном простом, она разговаривала сама с собой разными голосами, что было следствием предыдущего запоя. Боцман любил ее слушать. Скоро про Ларочку узнали в округе, она стала популярной среди дееспособных садоводов преклонного возраста. На нее образовалась очередь. Расплачивались с Колей за нее и деньгами, и натуральным продуктом.

Я пересек еловый подшерсток, отделявший наше садовое товарищество от запущенной деревеньки Гомнино.

Возле разваливающейся желтой избы с табличкой от былых времен “Дом образцового содержания” на скамейке сидел отставной деревенский пастух Франц Казимирович с женой. Франц, пока не пропил с сыновьями корову, торговал молоком. Тамара Яковлевна со своей разросшейся семьей была его главным клиентом.

“Чертов гном” — так звала Франца супруга за рост и нрав, — одетый по инерции в зимнее, был, как всегда, недоволен. Еще и оттого, что плохо видел: веки, как у Вия, не держались где надо и заплывали глаза. Чтобы видеть,

он закреплял их пластырем ко лбу. Сейчас без пластырей он был слеп и бухтел что-то недружелюбное.

Зоя Петровна привычно не слушала мужа, вяло отмахиваясь от него, как от назойливой осенней мухи.

— Здорово ночевали, труженики села, — сказал я. — Как жизнь, Франц Казимирович?

Франц закинул голову назад, освобождая глаза.

— Тебе чего?

Зоя Петровна ткнула мужа локтем.

— Не цепляйся к человеку. Слыхал: Валька-то вчера на мотоциклете расшибся. “Скорая” полночи собирала..

— Какой такой?.. — забурчал Франц. — Не зна-аю...

— Да Валька, крестник твой, — миролюбиво пояснила Зоя Петровна, — больно выпивши..

— Валька?.. — Франц сморщился, припоминая, отмерил от земли рост карлика. — Це таке?.. Малой?..

— Какой “малой”? — начала заводиться старуха. — Ты скажи еще: грудняк! Крестник твой, Валентин. На мехлопате работает.

— Не зна-аю, — замотал башкой Франц, уши зимней шапки, не схваченные наверху, а лишь забранные вовнутрь, расплескались.

— Чего не знаешь, старый идол! — зашлась в астматическом кашле Зоя Петровна. — Издевнуться решил!..

На шум из желтого дома, пошатываясь, в спадающих трусах, в очках, выбрел младший их сын Витька и стал пристраиваться возле дома, придерживаясь за угол.

— Резеду не обоссы, — буркнул Франц, но поздно.

— Сынок, — виновато улыбнулась Зоя Петровна, — пшикалку мою от астмы принеси, на окне. И трусики поправь..



Владимир Александрович Греков, он же Вова Грек.

— Сама возьмешь. — Витька рыгнул и неуверенно побрел в избу.

Зоя Петровна проводила его унылым взором.

— Все болезни мне Витька открыл.. Старый, когда помрет, я с им не останусь. Я сразу в богадельню.

Франц недовольно заерзал.

— Кудай-то ты намылилась?

— Когда помрешь, — успокоила его жена. — Живи, старый, никто тебя не торопит.

— А то — ишь.. — бухтел Франц, — в богадельню она настрополилась. Кому ты там надо: ни сосок, ни грудей, ни спереди, ни сзади, одна арматура осталась, заметь — имей в виду.

Зоя Петровна погладила мужа по плечу.

— Это ты, старый, меня всю изгвоздал. Ты да сыны твои.

— Да ты еще раньшей меня управишься.

— Вот тогда они тебе покажут ебейную мать, — невесело усмехнулась Зоя Петровна. — Заклюют напрочь. Витька-то меня который раз зарубить намеряется. Я уж и так лицом в стенку сплю — чтоб топора не видеть. Пока терпит — денег жалко: у меня же пенсия оккупантская — шесть тыщ, по удостоверению “Узник фашиста”.

— Да что это вы, друзья, не воскресный разговор затеяли, — всунулся я. — Вам Тамара Яковлевна привет передавала.

— Томка?! Как у ней самочувствие?..

— Давление.

— У нас тоже что-то в этом году все старухи разом посыпались, — закивала Зоя Петровна.

— Какой ты узник? — запоздало ворчал Франц. — Узник она!.. Ты под немцами была. И давала им.. Предатель!..

— Кому я давала! — возмутилась Зоя Петровна. — Чего несешь, старый идол!.. Это Панка Кобылянская давала!.. Ты лучше скажи: зачем сынов спойл?

— Я тебе скажу, все скажу! — Франц погрозил клюкой неопределенному врагу. — Вот поправлюсь и подохну, за меть — имей в виду.

Он не бредил. Два года назад битый Витькой по пьянке, он, обидевшись, выпил пузырь уксусной эссенции. Полгода висел на капельнице, но выжил.

— Не торопись на тот свет, — заправляя выбившееся ухо шапки мужа на место, усмехнулась Зоя Петровна. — Там кабаков нет, никто не поднесет... Петушка, что ль, Томке в подарок зарубить?..

Из сарая вылезла огромным брюхом вперед пьяная краснорожая баба.

— Я беременная — курятинки хочу, а вы, мама, — чужим предпочитаете.

Зоя Петровна с трудом поднялась и запихнула тетку назад в сарай.

— Родишь рахита, то-то смеху будет. И так полон дом кловунов.

Франц до эссенции, несмотря на малый рост, был в любви передовиком, хоть на доску Почета. Но Зоя Петровна была к мужу всегда снисходительна и теперь допускала, что живот снохи — дело его рук.

Тем временем Франц, закинув голову, сосредоточенно наблюдал за толстой бурой жабой, замершей у голенища заплесневелого сапога возле канавы. Из голенища вылетела оса, жаба выкинула красный ровный язык, насекомое

прилипло к нему и, забеспокоившись, тихо уехало на нем в жабу.

— Все гнездо перевела, — оживился Франц, но, вспомнив, что он злой, буркнул: — Чего стоишь? Иди, куда шел.

Боцман в очках на веревках вместо дужек зашивал галифе.

— Пошел с Ларочкой в церковь браком обвенчаться — матушка собаку спустила, портки порвал и крест потерял.

— Пусть Ларка зашьет, ты иди помойку вырой, двести у.е.

— Время будет — сделаю, — незаинтересованно кивнул Боцман. — Ларочка в клуб умчалась: там Газманов с Аллегровой приехали, у них шоу типа двойников. Все-таки роковая женщина.

— Аллегрова?

— При чем здесь! Ларочка. Ложки взяла, кастрюлю алюминиевую, раскладушку без брезента — все вынесла, а ручкомойник не тронула. Потому что — с водой. Выходит, рачительная, а то все: блядь да блядь.

Боцман поймал за хвост пробегавшую мимо тощую кошку с ободранной шеей и выщипанным у основания хвостом, зажал коленками, капнул ей на лоб из чашки.

— У нее тут лишай. Ларка говорит: фукарцин надо, а лучше самогона на лишай — и нет ничего. — Он подул на лечёбу и смахнул кошку с колен. — Так-то лицом она красивая, глазки зеленые, но как человек — говно.

— Ларка?

— Кошка.. И что главное: у чужих Ларка не берет, а здесь заимствует без возврата.

В избе его действительно было пусто. Не только ложек и кастрюли не хватало, не было также икон и календаря



*Я со своим любимым героем и соседом по даче —
в этой книге он назван Петром Васиным.*

с голыми барышнями. Иконы Боцман возобновил, нарисовав самостоятельно: Иисус получился с усиками, похожий на грузина, а Богородицу он окружил детьми разного возраста. Портрет Высоцкого, правда, висел на своем месте.

— На Владимира Семеновича тоже покушалась, — поймал мой взгляд Боцман. — Пришлось ударить, да сам упал.

С помойкой мы не договорились: Боцман на днях продал нерусским свой пай в колхозе и в деньгах не нуждался.

— Лешку Саранцева спроси в Алексине, он уже свой пай пропил. Тетя Тома как поживает?

— Давление.

— Мочу надо гнать от сосудов. Черноплодку пусть ест живьем и брусничный лист заварит.

У церкви в Алексине толпился народ. Я помахал из-за ограды соседям с младенцем Владиком на руках. Тамары Яковлевны, конечно, не было, с Богом она предпочитала общаться на дому. И я не пошел в церковь, озабоченный помойной ямой. Лешку Саранцева я не застал — на днях его с белой горячкой увезли в сумасшедший дом под Гагарином.

Я решил вырыть помойку самостоятельно, наточил лопату, разметил яму и до темноты зарылся на полкорпуса..

— Сере-ега!..

Меня или Серегу? На всякий случай отозвался. Оказалось, меня — отмечать крестины.

Праздник был в разгаре. За столом преобладала разнокалиберная корейская родня Тамары Яковлевны. До последнего времени Тамара Яковлевна относилась к ней

настороженно: родня была немногословная, а главное — непьющая. Ледок в отношениях растопил старший правнук. Ночью Тамара Яковлевна проснулась от плача: мальчик под одеялом молился, чтобы Фросины котята остались живы. Растроганная прабабушка котят не потопила и сквозь правнука распространила свою любовь чохом на всю узкоглазую родню.

— За Москву и Московскую область! — сомкнула паузу Тамара Яковлевна и пошла за холодцом.

На пороге она споткнулась, тихо осела и медленно повалилась набок.

— Бабушка упала! — засмеялся правнук, спаситель котят. Он подбежал к ней и схватил за руку, чтобы помочь. — Вставай, баба..

Тамара Яковлевна не слушалась. Родня выскочила из-за стола, стали засовывать ей в рот бесполезные таблетки..

— Мама, ты слышишь меня? — кричал ей в ухо сын. — Ма-ма?!

— Фро-о... — прошелестела Тамара Яковлевна. — Фро-о...

— Кошку хочет, — догадался я. — Фрося, кыс-кыс-кыс...

Заспанную Фросю достали с печки, положили на грудь Тамаре Яковлевне под темную жилистую руку с обрезанным на одну фалангу указательным пальцем. Короткий палец шевельнулся, стараясь погладить кошку, но, не сохладив с бессилием, замер. Глаза Тамары Яковлевны затуманились и остановились.

Второй сосед Тамары Яковлевны, мощный пенсионер Петр Васин, на крестины зван не был. Он, приватизируя

участок, заступил при межевании пядь земли, признать неправоту отказался и таким образом сокрушил многолетние отношения с соседкой. Тем не менее я взял алкоголь и пошел к Васину на досрочную тризну. Помянули. Подтянулся еще один бравый пенсионер — Вова Грек. Грек — сторож в церкви и поет на клиросе. До церкви он был парторг и конструктор по лазерам. Всю жизнь работал и учился: в ремеслuxe, вечерней школе, техникуме, техническом институте, в университете марксизма-ленинизма. В последнем он уверовал в Бога, слегка рехнулся на третью группу и бросил работу, не дойдя до пенсии. Васин, правда, уверяет, что Грек заразился полоумием от сына, вернувшегося из Афганистана без кости в голове — инвалидом первой группы. Грек знает все, если слушать его советы, можно жить не напрягаясь. Но кроме меня его в нашем околотке никто не слушает. На участке у него ветхая халупа, косо вросшая в землю, пять ржавых разрозненных автомобилей, под навесом старый кульман, иногда хозяин на нем чертит что-то таинственное. Рядом самогонный аппарат модернизированной конструкции; самогон он гонит хороший, но слабый. Грек умудряется два раза в год ездить в дармовой санаторий. Старость его не берет. На поминки Грек пришел в зеленых легинсах, явно с чужого бедра, при галстукe.

Мы еще помянули Тамару Яковлевну. Грек встал и завел речитативом: “Попомним об убиенных, кои лежат ныне в сырой земле дождевыми каплями, яко стрелами, пронзенными. И будь святой Пантелей им в помощь”. Мы с Васиным почтительно переглянулись, встали, ошибочно чокнулись. Васин вспомнил, как в войну делал своей бабушке Анисье гроб из стенки деревенской уборной, а мо-

гилу копал дезертир из Ивантеевки за буханку хлеба. Мы еще помянули, в дело пошел уже самогон Грека. Обоим дедам я классово чуждый, но Грек меня уважает, а Васин терпит.

— А Колька от цирроза помер. — Васин вспомнил мужа Тамары Яковлевны.

— Повешался он, — уточнил Грек.

— Это у Клавки повешался, а Колька — от цирроза! — стукнул татуированным кулаком по бревну Васин. — Не обижай Николая.

Грек пожал плечами и снова встал. Мы с Васиным приготовились услышать опять что-нибудь религиозное. Однако у Грека произошел сбой программы — он широко развел руки и грянул на все товарищество: “О-огней так мно-ого зо-олоты-ых..”

— Смолкни! — рявкнул Васин. — Покойник в доме!

Но Вова Грек не внял:

— “...А я люблю-ю же-ена-атого-о!..”

Я попытался зажать ему рот ладонью. Он противостоял.

— Дай ему по рогам! — посоветовал Васин.

По рогам Греку я, конечно, не дал. По рогам дал он мне, неверно поняв соседа. Потом порвал на мне рубаху, и мы рухнули в крапиву. Он лягал меня, я просил у Васина помощи, усмирительной, но не болезненной для Грека. Однако теперь мою просьбу неверно понял Васин. Когда Грек поднялся, Васин врубил ему, но не по рогам, а по зубам. Новым, белым, свежевставленным. Грек снова пал в крапиву. И уже не вставал.

— Помянули... — пробормотал я, отряхиваясь, — по-русски...

— Несклеписто получилось... — Васин задумчиво разглядывал свой кулак. — У нас тренер по боксу был... однорукий... Леонид Щербаков.

Но Вова Грек вдруг шустро встал раком, выждал равновесие, поднялся в полный рост, проверил зубы. Васин налил посошок, мы выпили, я подхватил Грека и повел домой. В саду Тамары Яковлевны похрюкивала осиротевшая, не загнанная в сарай Клава.

Навстречу нам в ночном мраке, пародируя мою походку, брел Серега, про которого тоже, видимо, забыли. Он заступил нам дорогу, развел руки вялым недоделанным крестом и сказал одутловатым голосом:

— Ня-ня?..

И заплакал, как человек.

Почему я живу в деревне

В августе 91-го меня разбудил по телефону медный голос Владимира Осиповича Богомолова (который “В августе 44-го”): “Сереза, в стране переворот...” Я обмер, было от чего. Совсем недавно министр обороны СССР маршал Язов на очень высоком толковище назвал мой “Стройбат” “ножом в спину Советской Армии”. Мне очень четко пригрезился футбольный стадион, как в Чили, заполненный неугодными.

Позвонила соседка узнать, можно ли во время чрезвычайного положения говорить по телефону? Отсоветовал. И поплелся на дачу оповестить родню.

По Минскому шоссе в город вползала бронетанковая гадина, сгоняя на обочину встречных. Жалом змеюка подбиралась уже к Москве, а хвост колотился аж под Кубинкой.

На даче матушка буднично составила список: соль, спички, мыло... Сосед-пенсионер накатил мне в успокоение рюмайку, задумчиво выдернул разбухшего клеща из общедоступной приبلуды Мурки и не без удовольствия подытожил: “П...ц тебе, Серезенька”.

Жизнь, по всей видимости, обрывалась.

Но не оборвалась. Облажалось руководство, слава тебе, господи, и на этот раз. О чем и сообщил Александр Кабаков 21 августа на Пушкинской площади городу и миру через репродукторы, выставленные в окна “Московских новостей”: “Хунта низложена! Сволочь бежит!..”

На следующий день русский ПЕН-центр нарядил меня отбить от пустого уже постамента памятника Дзержинскому кусочек гранита на вечную память. Какой-то мрачный дядя попытался оттащить меня за ногу от вандализма. Лягнул я дядю копытом, гранит добыл.

Позднее припомнилось: 19 августа генеральный директор русского ПЕН-центра Вова С. прибыл на службу очень уж торжественный: черный костюм, галстук..

Заинтересовались мы тогда с товарищем моим Наумом Нимом праздничной возбужденностью Вовы в критические дни. И при сухой разборке выяснилось документально, что патрон-то наш работает еще в одной конторе. В Лубянской. Напоминаю: ПЕН-клуб — международная писательская организация, сугубо правозащитная.

На собрании русского ПЕН-центра коллеги нас с Наумом не поддержали, упрекая “охотой на ведьм”. Но международный скандал был на мази — и во избежание его Вова С. убыл из ПЕНа. В связи с финансовыми нарушениями, но отнюдь не в связи с интимными связями. Помню, на пошок его даже премировали окладом жалования.

Стало скучно. И я утонулся из Москвы на дачу. Оказалось — на ПМЖ.

В родном садовом товариществе “Сокол” оценили мою грамотность, назначив начальником помойки, а также доверили ровнять подъездные пути. Я старался. Но сосед-



Дачник.

ний председатель, отставной прапор Вова Заяц, остался недоволен моим служебным рвением, обвинив в краже общественного гравия. Воруя, мол, по ночам, для чего приобрел особую бесшумную тачку на дутых шинах. Недружественные садовые товарищи призвали меня к ответу. Снова началась сухая разборка. Выяснилось, что гравий вроде я не крад, а вот сам Вова втихаря рэкетировывает пенсионеров, то бишь отрезает неугодных от привычного водоснабжения, понуждая, под угрозой засухи, подключаться задорого к его персональной незаконно сооруженной артезианской скважине. Но отключил Заяц по недомыслию совсем убогих: ветеранов, инвалидов и даже моего соседа — сверстника Серегу с болезнью Дауна и соответственно — с калонедержанием.

Суд я выиграл, обиженных отстоял, но расположения садовых товарищей не снискал.

Как-то ночью у моего забора шум-гам, собаки орут. Не иначе, думаю, Вова со товарищи, попив вина, ломятся на мою территорию, хотят мне месть учинить. В одних подштанниках с топором в руке выскакиваю под лунный свет. Людей не видать, лишь неместные шавки кого-то остервенело рвут у леса возле поваленного забора. Оказалось, косуля молча билась на земле, запутавшись сломанной ногой в сетке рабице. Пока бегал за кусачками, к добыче подтянулись садовые товарищи с ружьем. А косуля тем временем сама умерла, наверное, от страха.

Утром привычно отправился в лес, нужно лыжню на зиму готовить, бурелом растащить, мостик через канаву сделать.

У пукающего болотца мелькнул белый узенький незнакомый зверек, хвостик на конце черный, будто сажей испачкан... Возле лесного озера с цаплями и утями егеря накрыли поляну для местного зверья — лосей, кабанов, — посеяли бурую ботву типа малорослой кукурузы.

Я уселся на пенек, достал блокнот. Итак, “Почему я живу в деревне”? На днях “Огонек” такой вопрос задал. Стояла поздняя яркая осень, и кровососущая насекомая сволочь не донимала. Но особо не расписался. В кустах слышался хлюп-шлеп, и на белый свет выехал егерь Иван Михалыч, верхами. Поперек седла перевалился не туго набитый комковатый мешок.

— Здорово, Михалыч. Чего мрачный?

— Вот зубы, блин, в Можайске вставил, да, видать, плохо: чихну — выпадают.

Егерь зевнул, передернул плечами, как цыганка, частично крашенная коса, схваченная на затылке резинкой, легла на плечо.

— Соль лосям привез. Кто-то спер. Ты не брал?

— ?

— Мало ли... На халявку-то... Чего пишем?

— Да вот... почему в деревне живу...

Егерь неторопливо закурил, взвалил мешок на плечо и понес к кормушке. Тяжелые булыжники соли загрохотали в корыте. Но с любопытством не справился.

— Ну и почему? — лениво спросил он. — Жил бы в Москве, как все ваши.

— “Все ваши” — это кто? — насторожился я, привычно подозревая под “вашими” любезных егерю “жидов”...

Помнится, позвал я как-то Михалыча на дачу захмелиться по случаю Пасхи. Православной. Он прискакал

уже праздничный, натурально верхом и на участок въехал на коне. Навстречу ему мой отец. Завидев живописного всадника, воскликнул: “Сынок, к тебе гости!” Михалыч опешил, ибо папа мой, подтверждая свою фамилию Беркенгейм, очень уж походил на еврея, а Михалыч, прочитав “Кладбище” и “Стройбат”, почитал меня за русского писателя...

— ... С вашими, — раздраженно повторил Михалыч с натягом в голосе, обтирая грязного коня пустым мешком, — с поэтами, писателями...

Хотел я ему сказать, что с поэтами, вернее, с поэтессами, я уже пожил и ничего хорошего из этого не получилось, что с писателями лучше не жить, а читать их, а если слушать, то по радио, но обострять ситуацию не стал.

— Ты скажи мне лучше, Вань, кто мне дорогу нынче перебежал: маленький, беленький?..

— Кончик черный?

— Хвостик черный, — кивнул я.

— Горноста-а-й, — равнодушно махнул рукой егерь, недовольно оглядывая коня. — Опять мыть надо, обгадился весь, как эта..

— Погоди, погоди... Горностай, он же на мантиях у царей. Откуда он у нас, леса-то здесь вшивые? Горностая в Сибири Дерсу Узала ловит..

— Кого-о! — возмутился егерь. — У нас здесь леса я тебе дам!.. И экология.. Ты вот по лесу тише шастай — собак развелось, лосят гоняют. Молодняк пожрут — за людей примутся. Отстрелять бы — руки не доходят. Тут зверья много. Рысь в прошлом году зашел. А за Рузой ваще волки воют. Ты лучше в Москву к себе ехай.

— В Москве я, Михалыч, глупею...



В сельской жизни тьма преимуществ.

— У-у. — Егерь понимающе кивнул и погладил заворчавшего было коня.

— ...В лес войду дурак дураком, — продолжил я. — До Облянищева доплетусь, в копну на поле сяду, на небо посмотрю — рассказ готов. Потом к Таньке чайку попить...

— Жива еще? Ты гляди аккуратней с ней, — перебил меня егерь, раздраженный таким легким заработком. — Сама женьшень пьет для здоровья, а другим, блин, типа поебень-траву варит. Ведьма.

Про Таньку я знал больше Михалыча. Танька до войны сидела по 58-й статье. Коммунистов ненавидела. А на другом конце деревни доживал хромой курносый старикашка, единственный коммунист на всю округу. Дед в свое время вместе с Танькой работал на стекольном заводе в Дорохове; Танька стекло варила, а дед строчил доносы. Написал и на Таньку.

— Ладно, — сказал Михалыч, — я погнал, а ты сиди... думай. А то заезжай завтра — день рождение.

— Сколько тебе?

— Шестьдесят два. Даже шестьдесят три, я ведь сорок первого.

— Значит, шестьдесят четыре.

— А я их не считал.

Сижу, стало быть, думаю. Муравьи из ближнего двухметрового муравейника неагрессивно ползают по мне. Благодать.. Надо бы в Москву съездить. А зачем? Что я там забыл?.. Интернет у меня на даче через мобилу берется; канализацию, горячую воду наладил. Чего еще забыл в Москве? Друзей? Да их и в молодости было раз-два,

и обчелся, а с годами и те повывелись. Кто разбогател — ума-разума лишились. Как-то один, которого знаю треть века (он конюхом тогда на ипподроме работал, мы с ним, пьяные, ночами по сугробам скакали), пригласил на дачу. Оказалось — трехэтажный особняк с колоннадой, с лифтом, стокилограммовым сенбернаром. Вроде все со вкусом. А в конце застолья повел к себе в кабинет похвалиться портретом главного Вовы работы Никаса Сафронова. Я думал, шутит, дуркует. Нет, всерьез, на голубом глазу.

С бедными друзьями обратно беда — там гордыня и зависть. Да и не очень, как выясняется, друзья нужны под старость. Одиночеству мешают. В молодости вот друзья действительно необходимы, тем более в одинаковой бедной молодости, когда вокруг сплошной социализм жалом водит, того и гляди, укусит. А сейчас не то что на дружбу, на приятельство времени жалко.

Раньше в Москву ездил родственников проведать. Теперь их практически не осталось, а сын в Монреале. Нет, радости в Москве, конечно, есть, еще какие — театры, музыкальные кафе, Козел на саксе, живая музыка...

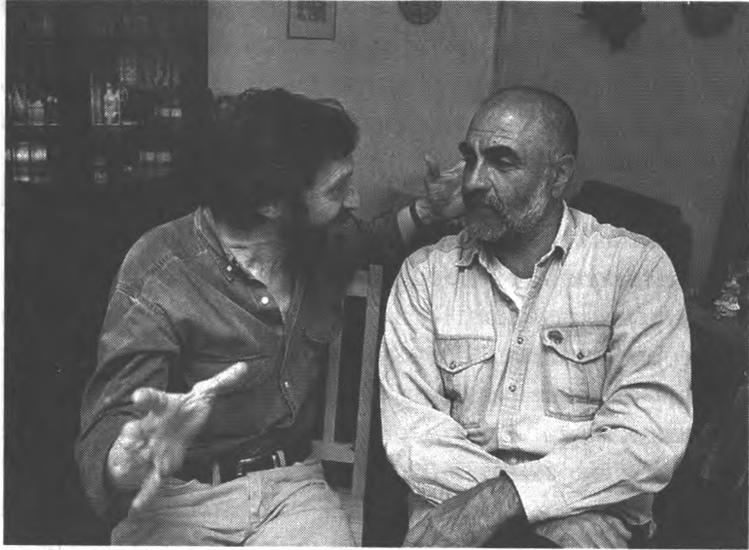
Насчет культурного общения? Для культурного общения книги есть. А чего в магазине не найду, из деревни по интернету закажу. В Москве на дом принесут. Принести-то принесут, но толком ведь в Москве не считаешь: звонки, суэта, мысли как в кофемолке — вжик-вжик — в основном без толку.

На тусовках вертеться — не по возрасту. Хотя, если говорить начистоту, от тусовок какой-никакой прок все-таки есть. Там случаются хохмы, хохмы преобразуются в байки, а байки — золотой запас жизни. Ну, например. В Париже после премьеры “Гаудеамуса” Льва Додина (по “Строй-

бату”) на банкете я безуспешно искал Анастасию Вертинскую, чтобы поблагодарить ее за участие в судьбе спектакля. Ношусь между красивых теток, ну нет Вертинской, хоть ты что! Подруливаю к роскошной даме: “Вы не видели Вертинскую?” Дама участливо пошарила раскосыми глазами по залу: “Во-он она”. Вертинскую я тогда так и не нашел. Позже выяснилось, что про Вертинскую у Вертинской и спрашивал. Через год на другой тусовке подошел к ней извиниться за парижское недоразумение. Извинился. Оказалось — перед Ларисой Удовиченко. Не-е-т, пора гусей пасти и о Боге думать.

Кстати, о Боге. Пристрастил меня к Богу Мень. Не лично, к сожалению, заочно. А купить Меня оказалось докукой: в какую церковь ни ткнусь — везде отлуп: Менем не торгуем. Еле нашел — у Космы и Дамиана. И теперь стал лучше понимать Веру Борисовну Бахматову. Вера Борисовна была неграмотной, но каждое утро раскрывала Евангелие, закрывала глаза и читала на память. Все просила меня покреститься. Креститься я воздержался, а Бога с ее помощью полюбил. До такой степени, что весной собираюсь в Польшу, поглядеть, как тамошние попы солидарно с Папой коммунизм в одночасье порешили. Кажалось бы, Папа совсем был не героический: чахлый, стреляный, на ладан дышал, а поди ж ты! Чего ж у нас-то все так прискорбно получается. Хотя, что лукавить, дело-то ясное: Папа окормлял всех поляков, а у нас Александр Мень только интеллигенцию успел наставить, а до народа не добрался — замочили предусмотрительно.

Что-то я заврался вконец: все плохо, все не по мне... Все, да не все. А тюрьма в двадцати верстах от меня! Можайская воспитательная колония, где четвертый год опе-



С Наумом Нимом.

каю молодых бандюганов в надежде на их исправление (а может, на свое).

Когда я появился в колонию, полковник Шатохин принял меня с распростертыми объятиями. Моя первоначальная идея с литературным кружком, разумеется, быстро захла; хотя пацаны и по сей день таскают мне стихи. Как правило, жалостливые: про маму, свободу, любимую девушку... Стал я с ребятами просто общаться на вольные темы: про жизнь, про Бога, Чечню, политику... Конечно, при сопровождающем не очень-то поговоришь, но поскольку я в колонии порой с утра до вечера, то пасти меня беспрестанно накладно и скучно. Пасусь индивидуально. Конечно, такой нестрогий режим для меня — самое то, а начальнику риск. Но я сразу его предупредил, что сор из избы понесу, не без того, но и добра в хату притащу с лихвой. Терпел полковник, сам не обижался и в обиду не давал, мечталось Борису Анатольевичу сделать тюрьму современной, как в Норвегии, куда он недавно ездил набираться опыта.

У нас даже двое ребят в институт заочный на сессии в Москву ездили. А как-то я вконец раздухарился — написал письмо Березовскому в Лондон, просил клуб помочь отремонтировать. Шатохин тогда еще лысину задумчиво почесал: “А не посадят нас с вами, Сергей Евгеньевич?” Не должны, говорю, благотворительность экстерриториальна. А потом, какая разница: вы и так в тюрьме сидите, к тому же бессрочно. Березовский, правда, не ответил. Впрочем, не он один. Возил я в тюрьму ровно пять богатеев, не олигархов, но вполне достаточных и которых знаю давно. Приезжали, смотрели, головами сочувственно кивали, обещали и... Без “и”. Голяк.

Но все-таки мир не без добрых людей. “Открытая Россия” открыла компьютерный класс; Людмила Улицкая отремонтировала и оснастила психлабораторию; товарищ мой Гриша Каковкин подарил двадцать костюмов и столько же пар обуви — пацанам победнее на освобождение, и т. д.

Такое вот завел я себе хобби. Казалось бы, одни траты, а где навар? Но, во-первых, благотворить приятно, во-вторых, с отечеством знакомлюсь поближе. Из Москвы оно просматривается туманно.

А недавно полковника Шатохина выгнали. Ибо — Гуманист. Такое вот у него погнало в УИНе. Подозрительным показалось начальству, что пацаны все чаще и чаще “на Можайку” стали проситься для отбытия наказания. Следом ушел его зам по воспитательной работе, за ним капитан Ирина, психолог, на которую ребята буквально молились..

Все, встаю, пора домой, жена решит, чего доброго, — заблудился.

Итак: лес — это не просто лес, это дом творчества, только лучше: нет принудительного ассортимента — общения с литераторами. В лесу и обычных-то пейзаж днем с огнем не сыскать, не любят поселяне дикую природу, они на грядках преобладают. И потому мой лес кристально чист: ни окурка, ни банок пивных, ни, пардон, презервативов. Чего не скажешь о наших замечательных озерах — Можайском, Рузском, Озернинском. Там загажено все глухо, ибо народ воду любит. Хотя, что же это я так о них пренебрежительно: “пейзане”, “поселяне”, “народ” — они ж герои мои, хлеб и вода, соавторы. Без них мне на этом свете делать нечего, не о ком писать.

А жена не заждалась, она увлеченно изготавливала мое чучело — одноногое, с костылем под мышкой и попугаем на плече. Карикатуры на меня и без того уже заполонили наши десять соток: на заборе, сарае, колодце. Не то что птицы — люди шарахаются. И сочувственно интересуются: не обижаюсь ли? Обижаюсь, конечно, но терплю. Из последнего: вышла меня гладью в виде толстой, лысой, грудастой русалки с бокалом вина в руке. Опять-таки терплю. Также пасет стадо прожорливых ничьих кошек. На свою печаль, рассказал, что Саша Кабаков на даче переоборудовал баню под кошатню, которую соединил с жилым массивом воздушным коридором, как в аэропорте Орли, и теперь с волнением наблюдаю, как жена с недобрый умыслом посматривает в сторону моей баньки. Кроме того, она славно пишет-переводит, меня редактирует. Вообще-то, главная наша работа — это обоюдная лень. С чем мы успешно справляемся. Иногда, правда, нам становится стыдно. И мы принимаемся за дело: я — писать, она — рисовать. Такое вот перекрестное опыление.

На участке у нас деревенька — три домика: мой, жены и про гостей. Как выяснилось, на двоих три жилища — только-только. Гостевой обит красной фанерой, соответственно — красный фонарь на веранде. Сложилось исторически, выглядит фривольно.

В сельской жизни еще тьма преимуществ, но ведь всего не перескажешь, а посему, как у нас в тюремных письмах пишут, “рву строку, целую в щечку и ставлю точку”.

Да, чуть не забыл!

Как-то ездил я в Белоруссию. Тамошний начальник Саша Лукашенко издал указ, чтобы клюкву на болотах

без дозволения не рвать. И решил я недавно высочайшим клюквенным запретом посмешить своих можайских товарищей — экс-тюремщиков, отставленных от службы, как и Шатохин, за избыточный гуманизм. Байка не прозвучала. Оказывается, белорусский режим им в основном по душе: строгость, порядок, твердая рука.

Садовые товарищи

Возможно ли сравнить что с вольностью златой,
С уединением и тишиной на Званке?

Г. ДЕРЖАВИН. *“Евгению. Жизнь Званская”*

Раз в месяц наше садовое товарищество “Сокол” навещают нерусские чернявые люди на разбитой “газели” — собирают металлолом. Сегодня Васин в честь своего юбилея прощался с ненужным железом. Мы — Старче и я — следили, чтоб не раздумал. Рядом, задевая распухшими сосками дорогу, пританцовывала Кика, низенькая, веселая сучка.

— Уважаемый, холодильник биром? — почтительно вопрошал Васина золотозубый металлоискатель. — Кумулятор биром?

— Все берем! — Васин обреченно рубанул ладонью воздух.

— Батарэй биром?

— Батарею не трог!

— Зачем тебе старье? — зашипел я.

— Люблю металл. Особенно чугуны.

— Ну, ты, старче, жид ку-ку! — Старче, друг Васина по заводу, тоже Петр, повертел пальцем у виска, куда, перетекая лысину, спускался драный афганский шрам. Он всех, включая молодых женщин, звал “старче”.

Металл уехал, с трудом разминувшись с красной “Нивой”. За рулем сидела полная блондинка. Из машины вылез розоволикий пожилой красавец Вова Грек в шляпе с петушиным пером, в пиджаке на голое тело. По мнению садовых огородников, валет на всю голову, а по-моему, — великий ум. Когда-то я купил в Германии дизельный “Мерседес” б/у, приехал на дачу, и “мерс” умер: полетел стартер, а Москва в те времена дизельную немчуру не чинила. Грек разобрал стартер, на самодельном фрезерном станке исполнил мудреную деталь, собрал по новой, и я — поехал. Под дурака Грек просто косит: то ходит в чужом мундире с медалями, то с веревкой на шее, как удушенный, — развлекается.

Из багажника Грек вытянул чемодан — набор кастрюль из псевдотефали от цыганских производителей, поправил перо на шляпе.

— Вова, ты прям тирольский охотник, — сказал я. — Вильгельм Тель.

Грек поставил подарочный чемодан у ног Васина. На его руке сиял мельхиоровый перстень с фиолетовым камнем.

Блондинка за рулем погудела, высунулась из окна — ухоженная, гладкая, но с разными глазами — косая.

— Поздравляю, Петр Иванович! Ведите себя хорошо, мальчишки!

— Здравствуйте, — кивнул я, стараясь попасть в поле ее зрения.

— А поцеловать? — капризно потребовал Грек.

Блондинка модно, по-телевизионному, сдула ему с ладони воздушный поцелуй и умчалась, взъерошив пыль.

— Не понял? — удивился Васин.

— Регент запил, коров доил, — невнятно пояснил Грек. — Помогал и так дальше...

— Говори толком! — рявкнул Васин. — Слова не заедай... Хоть бы позвонил, что с бабой...

Мобила у Грека есть, но он ею не пользуется: вредно. А вот списанный компьютер, который Греку подарили в беседе, освоил в момент и теперь ищет по интернету невесту с дачей по нашей дороге. Он завален предложениями, недавно даже ездил в Ленинград на смотрины за счет приглашающей стороны. Приглашающая сторона оказалась пожилым доктором наук по членистоногим, Греком очаровалась и отписала возлюбленному со своего плеча ноутбук.

Грек при дамах во все времена. Поедет, бывало, в прошлом веке на своем "Москвиче" в Дорохово за картошкой — вернется с тетей в телогрейке. Или: в поликлинике укол ставит — назад медсестру волочит.

— А где рубашечка, Вова? — спросил я.

— Корову доил — обдала, чего непонятно?.. Кастрюли подарила и так дальше...

— Ты бухой, что ли? — насторожился Васин.

— А ты наливал?

— Пойдем, налью. — Васин распахнул калитку и споткнулся о Кику. — Эта еще здесь!

— Окотилась, — виновато пожал плечами Старче. — Пять штук... Три беленьких, два кобелька.

— Тихо! — Грек поднес к глазам руку с безупречной "Победой", которую собрал еще пацаном в часовой ремеслухе. — Раз... Два... Три!

И точно: приветствуя юбиляра, на участке Грека истошно завопил петух, единственный на всю округу. Выстарившихся кур Грек ликвидировал, а петуха не смог поймать. Теперь петух-раритет барином разгуливает по нашему “Соколу”, собаки его не обижают.

Сегодня Васину восемьдесят. А Греку и Старче восемьдесят будет года через три-четыре, может, через пять.

Васин знаменитый медник, гнет профили самолетов. Капитализм отозвал его с пенсии, умолив еще поработать. На завод Васин ходит три раза в неделю в костюме с галстуком. В обед принимает стакан — это поддерживает его в тонусе и администрацией не возбраняется. Есть у него и любимая женщина, с чужим приплодом. С личным же своим сыном, врачом-проктологом, Васин контактит плохо. Их встречи на даче начинаются мирно, Васин называет его “сынок”. Но сынок расправляет крылья — начинает учить отца по строительству, и в ответ над “Соколом” поднимается тяжелый мат. Доктор визгливо, по-бабьи, отбреживается и отчаливает в Москву. Васин напряженно смотрит ему вслед, как бы сомневаясь: из его ли тот помет? Но главная проблема Васина не в отцах и детях: недавно ему добавили к сердцу дополнительный мотор-стимулятор и приказали кончать с работой и алкоголем. А завод только что получил обещанный заказ из Израиля — стратегический гидроплан. И хотя Васин евреев не жалуется, своей волей отказаться от интересной работы не в силах.

Двадцать лет он в одиночку (не из скаредности — из гордыни) строил дом, трехэтажный, с кирпичным цоколем. Загоревший, полуголый, он стучал топором сначала внизу, а потом и на верхотуре. И пел.

Дом задумывался самым высоким в округе. Васин подвел недоскреб под крышу, но попал в больницу. Стройка замерла, огромный сруб мокнет.

Утром Васин сгонял в Можайск на рыбразвод к друзьям, и сейчас в корыте из-под цемента шевелились две длинноносые стерляди и три черных извилистых угря. Васин выудил драгоценную рыбу, попробовал острие ножа на ногте большого пальца, остался недоволен и пошел за брусом. А стерлядь снова пустил в воду подышать.

Обноски Васин не жалуется, одет по-молодому: джинсы с широким ремнем, красная ковбойка, кроссовки.

Движения его расчетливы, не суетны, он не переправляет сделанного. Даже замерзшая водка, которую он сейчас льет свысока тугой маслянистой струей, — не брызгаясь, точно доверху, с бутром, заполняет мутные с поволокой на манер венецианского стекла, оплавленные граненые стопки. Эксклюзивная посуда отошла Васину с пепелища Старче. Ларочка-бомжиха, с которой Старче подживал этой зимой, пьяная, спалила его хибару, пока он ездил за пенсией. Ларочку еле успели вытянуть за ноги на снег, где она еще долго дымилась, живая. Теперь Старче живет в ненавистной Москве: его жена на старости лет тащит в дом с помойки что ни попадя, одних шкафов — четыре, а квартира однокомнатная; Ларочку он поклялся убить.

Питается Васин один раз в день — вечером, но сегодня ломает режим. Для гульбы он вынес во двор раскладной стол, а сервировочным служит высокий пень-обабок, лохматый



Посиделки с Васиным.

от опят. Вот он приподнял замшевую с вязаными вставками кепку и привычным движением загреб под нее седоватую шевелюру, на полуобрубленном пальце блеснуло обручальное кольцо из былых времен. Я ждал этого момента. — Отцы! Внимание! — Я открыл заложенную в нужном месте припасенную книгу и начал с выражением читать:

...Хуан сгрёб пятерней густые черные волосы и заправил под кепку. Руки у него были широкие и сильные, с тупыми пальцами, ногти плоские от работы, свилеватые... На среднем пальце левой руки не хватало фаланги, и он грибком утолщался к концу. Утолщение было другой фактуры, чем остальной палец, лоснилось, как будто хотело сойти за ноготь, и на этом пальце Хуан носил широкое обручальное кольцо. Как будто решил: не годишься для работы, так послужи хоть для украшения. Движения у него были уверенные. Даже тогда, когда его занятие уверенности не требовало... Хуан вставил шпонку и несильными ударами загнал ее до конца. Потом выбрался из-под автобуса...

— Не по-онял... — угрожающе протянул Васин. — Про кого базар, непосредственно? Про меня?.. Не на-адо... Не надо меня жевать.

Моя ошибка: он вовлечен по чужой прихоти в литературные забавы, причем на людях, при свидетелях — этого я не учел.

— Петьке не нравится — про меня напиши! — сдержанно предложил Грек. — В “Огоньке”. Чтоб имя-фамилие — мое собственное, без псевдонима, и фотка.

У Грека тоже нет одного пальца, как и у Васина; Васину палец откусила жизнь, а Греку — кролик в детстве.

Беспалая солидарность связывает их и с покойным президентом, которого они никогда не ругали. Грек — мой друг забубенный, несмотря на то, что он недавно бил меня на этом самом месте. Мы тогда слегка выпили, и он налетел на меня совершенно беспричинно. Я боялся одного: что ему станет плохо от резких движений. В результате ему и стало плохо: Васин ударил его, и ударил чрезмерно. Я потащил мутного Грека домой... Утром я собрался его проведать, потянулся к выключателю и задел что-то мягкое. Включил свет: рядом, сияя изумрудным переливчатым бланшем в пол-лица, сложив руки на груди, мирно спал Грек.

— Да это роман американский!.. “Заблудившийся автобус”, — оправдывался я. — За него Джону Стейнбеку Нобелевскую дали... У мужика автобус сломался, он его чинит. Дальше слушайте:

...Металл — хитрая вещь, — сказал Хуан. — Иногда он как будто устает. У нас в Мексике люди держали по два, по три мясных ножа. Одним пользовались, а остальные втыкали в землю. Говорили: “Лезвие отдыхает”. Не знаю, так ли, но эти ножи можно было заточить, как бритву. Я думаю, никто не понимает металла, даже те, кто его делает...

— Угу, — сдержанно кивнул Васин.

— Правильно мужик пишет. Лучше Сереги, — усмехнулся Старче. — Не обижайся, Серега.

— Ну, почему... Каледин тоже... — толерантно пробормотал Грек, пересчитывая глазами вилки. Не зря он кончал университет марксизма-ленинизма — научился сглаживать углы. — Одной не хватает.

Наши отношения с Васиным напряженные. Когда-то я написал повесть про него — “Тахана мерказит”, в которой арабская террористка “взорвала” его в автобусе. Васин смертно обиделся. Выяснилось, оскорбился Петр Иванович не гибелью в нелюбом Израиле, а описанием того, как с бодуна он “отдыхает мордой в душистых стружках”, в которых он, натуральный Васин, никогда не лежал даже с лютого перепоя.

— За все хорошее! — сказал Васин. Мы чокнулись. Васин повторно шагнул к корыту с рыбой, куда притихшая Кика уже блудливо окунула лапку. — Кыш, падла!..

— Петр Иваныч! — крикнул я, нацелив фотоаппарат. — Личико покажи.

Васин повернул голову — чеканный профиль кондотьера с перебитым носом.

— Ну?

— Гну. Свободен временно. Да люблюсь я тобой.

— Не надо! Я не баба!

И так каждый раз: стоит мне что-нибудь в нем похвалить — природную статью, зрение без очков или достойную его подругу, Галину Михайловну, — он злится, боится сглаза. Вообще-то по природе он классический самодур. Как-то я зазвал его к себе попить-попеть под караоке. Он неправильно держал микрофон, и узкоглазая красотка выставила ему с экрана оскорбительную оценку: “Старайтесь петь лучше”.

— Она меня, блядина, учить еще будет!.. — замахнулся Васин на телевизор.

Я еле его урезонил: махонькие, крохотные корейцы за миску риса нам, русским бездельникам, поющие машинки мастерят — только бы нас распотешить, а ты их по-

носишь, хорошо ли? Васин спустил пар, спел как надо про парней на улицах Саратова, получил сто баллов и сдержанно подытожил: “Вот так”.

Он замер над корытом.

— Угрей не вижу... Где угри, непосредственно?

Бесценные гады исчезли. Васин обвел нас недобрым взглядом и, выбрав виноватого, ткнул в Старче пальцем:

— Твоя!

— Да не жрет она рыбу сырую! Иди ко мне, псинка... На — колясочку. — Старче кинул испуганной Кике кусок сырокопченой колбасы.

Мы рассыпались по участку искать беглецов. Одного угря настигли на улице, второй заполз на кучу щебня, третий исчез с концами.

— Как на родину съездил, Петруша? — аккуратно спросил Грек, надраивая рукавом свой перстень. Перстень давно не снимается — не проходит через сустав, и в электричке Грек переворачивает кольцо камнем внутрь, чтобы не привлекать внимание злоумышленников.

— До Рязани на поезде, потом мотор взял.. Без толку. Один фундамент от церкви...

Родину он покинул в 32-м. Бабушка Аксиныя заложила калитку щепкой, посадила двухлетнего Васина на руку, в другую взяла узелок с иконой и пошла “в куски” — побираться. И потом спасла его уже в зрелом возрасте. Васин загулял, упал, вмерз в лужу, встать не мог и не хотел. И бабушка Аксиныя *оттуда* приказала: “Петр, вставай!”

— Хочу бабушке памятник поставить, только вот не знаю где?

— На могиле своей, — подсказал Грек. — А хочешь — у нас на кладбище.

— На какой “своей”?! — Старче постучал кулаком по лысине. — Где “у нас”? Совсем ку-ку! Васин живой пока временно.

Грек задумался: не то сказанул, сбой программы — осень.

Весна — осень его обостряет, он забирается до небес. Весной — осенью он тебе и главный конструктор, и американцы ему за лазеры денег предлагали, и уволился он во избежание ареста как не согласный с линией партии... На самом же деле он был конструктором, хорошим конструктором (я видел его грамоты); просто вдруг занедужил головой и в пятьдесят семь лет уволился, получив группу по инвалидности. И определился техником-смотрителем в церковь Покрова Божией Матери в Алексине, неподалеку от нашего садового товарищества, в которой я в конце застоя работал кочегаром. Но на меня в церкви смотрели косо, а Грек помимо жалованья и стола имел в храме авторитет, а рикошетом — блат на местном кладбище, куда за малую мзду пристраивал неимущих. Сейчас Грек определил в церковь сторожем племянника, выходца из тюрьмы, которому мать отказала в прописке. Племяш еще тот, трудового послушания чурается, принимает к алкоголю и грозит, если его погонят, грабануть церковь.

Весной — осенью я на бредни Грека не реагирую, а зимой — летом вникаю. И верю, что он герой: помогал в августе 41-го отцу отстреливаться от немцев — теребил ленту, чтоб не заклинило пулемет. Отец Грека, матрос с “Авроры”, был военпредом на Краматорском заводе, где выпускали “катюши”, и отвечал за эвакуацию эшелона с оборудованием. Немцы заняли Краматорск — эшелон еле выполз задом из осажденного города. Потом Грека контузило, он потерялся, его подобрала врачиха: “Мальчик, что у тебя

болит?» — «Я есть хочу», — сказал маленький Грек, и врачиха заплакала. После контузии Грек учился заново ходить и говорить.

Но история о том, как Грек поймал, вернее, сообщил в НКВД о фашистском парашютисте, вместо Сталинграда спустившемся в поселок Тогудзак в ста км от Тобольска, меня достала, и я заорал Греку: «Врешь!» Грек достал пожелтевшую газетную заметку: «Пионер Вова Греков поймал диверсанта». Васин Греку тоже верит, но не всегда.

А вот Старче Греку не верит, ибо сам герой, а для двух героев места в нашем околотке маловато. Старче, бывший трюмный матрос на сторожевом катере, по собственной воле в сорок с лишним лет записался в Афган. И привез оттуда через пять лет расколотую башку и мешок женских сломанных серебряных украшений. Что он в Афгане делал — молчит, «рота прикрытия» — и весь сказ. Его незаконнорожденное серебро я по сей день пристраиваю по знакомым. Позже выяснилось, что война в Афгане была ограниченная, проще говоря — ее не было. «А я где был?!» — стучал Старче по шраму, на что садовые огородники лишь кротко пожимали плечами: «Кто его знает, может, сидел». Однажды Старче не выдержал, напился, положил в цеху под пресс медали, военный билет и нажал педаль.. Я предлагал ему помощь по восстановлению документов и, соответственно, льгот, но он — наотрез, без объяснений.

— Могила-то у меня есть.. — запоздало вспомнил Васин. — Дочкина..

Чтобы угри не расползлись повторно, Васин нанизал их на шампуры. Процедил первый бульон под основную уху, разварившихся ершей в марлевом мешочке брезгливо сунул Старче — для Кики, и заложил в котел потрошенных

стерлядей целиком. Я подарил ему старинную кулинарную книгу с “ятями” “Подарок молодым хозяйкам”, по ней Васин, щурясь, подставляя рецепт под остатки осеннего солнца, и готовил сейчас стерляжью уху “кольчиком”. Я протянул ему свои очки.

— Что ты маешься?

— Не надо. — И пояснил свое упрямство: — В очках я плохо слышу.

Пожилые мои товарищи вопросов мне не задают. Спросить — значит одолжиться, а быть обязанными они не любят. Приходится самому их бодрить — стараюсь не переборщить, выковыривая из них подробности. С автобиографическими деталями они расстаются с трудом — это их капитал.

— Угрей жарить будешь? — на всякий случай осторожно спросил я Васина.

— Коптить. Как омуля. На рожнах. С носика закапает — готов.

Старче потер поясницу.

— Болит чего-то...

Васин брезгливо задрал бровь:

— Мнительный?.. Возьми его в кулак и мни.

— Мни — не мни, все равно не стоит, — в сердцах махнул рукой Старче. — Может, от таблеток? Я пилюли от давления принимаю, бросить, что ли?..

— Это не от пилюль, Петя, — задумчиво сказал Грек. — Это тебя пожар по мозгам шибанул. А потом вниз по нервам спустилось. К психиатру тебе надо. Желательно, половому.

— Отпустило вроде, — сказал Старче, покряхтывая. — А про Серегу чего народ говорит, у-у...



Садовый товарищ.

— Ну-ка? — заинтересовался я.

— Не работаешь, машины меняешь... В тюрьму детскую ходишь?.. Типа педофил несознательный...

— Подсознательный, — уточнил я.

— ... или бабки там отмываешь?

До недавних времен я действительно ходил в Можайскую воспитательную колонию наставлять заблудших пацанов. Свой молодняк разбежался: сын с внуками в Монреале, племянница в Австралии, педагогировать некого. А бандюганы вроде слушали.

— Ты чего поебень всякую собираешь, непосредственно! — рявкнул Васин, но не в мою защиту, а из абстрактной справедливости.

Старче вытряс слипшихся ершей в траву, поманил Кику. Кика ткнулась носом в горячее месиво, чихнула и завилыла в нетерпении коротким белым хвостом-лопатой, похожим на овечий курдючок.

— Я не собираю, — помотал головой Старче. — Я прямо говорю: “Сергея не пидор, Сергей грамотный”.

До пожара Старче тихо-мирно жил на пленэре, читал фэнтези, пил пиво, гонял видак, раз в три дня ездил в Москву — дежурным сантехником в подземном коллекторе. И кормил свору собак, Кикино потомство. Я возил его в Можайск на мясокомбинат отовариваться: подчеревок, обрезь, жилы... Но приработок в Москве у него отняли чернявые конкуренты вроде тех, которые утром собирали металл, пенсия была невелика, и собаки начали активно проедать его афганское серебро. Васин был возмущен и грозил перестрелять Кикино поголовье. Спасибо, зима прибирала неоперившийся осенний приплод. Но каждой весной Кика включала форсаж, и все начиналось по новой. Я пытался

умыкнуть Кику для стерилизации, но Старче не дал уродовать любимицу. Теперь он приезжал из Москвы на свое пепелище и, как ведьма, мешал арматуриной дымящееся варевое для собак в огромном чане с надписью на боку “п/л Елочка”. Потом прятал алюминиевый котел от бомжей, соискателей цветного металла, и возвращался в ненавистный город. Васин с Греком неоднократно предлагали ему кров, но Старче из гордости от ночевой отказывался.

На бесшумных лапках к Васину подошла ветхозаветная сивая Дамка с мышью в зубах. Шерсть вокруг шеи у нее была выбита котами. Она положила подарок у ног Васина, скромно отошла в сторонку, села, как копилка, и уставилась на хозяина глазами Кашпировского.

— Брешко-Брешковская, вот ты кто, — уважительно сказал я и пояснил на всякий случай: — Бабушка такая была, революционерка.

— Умница, — согласился Васин, кинув пустую бутылку под куст калины. — Поймает грызуна и несет свою жертву, а ведь ничего не кончала. Покладистая девка. С вида — ласковая, а случись котятка — любой собаке оба глаза на когтях подымет...

— Дамочка, принеси Петру Ивановичу бутылочку, — сказал я. — Из морозильника.

— Не трог ее, — очень серьезно сказал Васин. — Сам схожу. Она, вон, все в лес глядит — не заболела ль часом?

— А я для от мышей простой раствор делаю, — сказал Грек. — Картофель с водой плюс яд и так дальше.

— Грек, возьми Кику на зиму, будь человеком, — возмолвился Старче. — Я за ней приданое дам.

— Да не скули ты, — поморщился Васин. — Его и без тебя родня обуяла.

Забот у Грека действительно перебор. От трех жен у него дети, но удачная только одна, младшая, красotka Наташа со знанием языков и дочкой Настенькой, очаровательной голубоглазой “лолитой”. Сейчас дочь строила коттедж по Ново-Рижскому шоссе и внучку с бабушкой определили к деду. Девочка писала рассказ про ежика, я ей помогал. Но Грек опасался, что про внучку пронюхает племянник-“тюремщик” — и как бы чего не приключилось.. И уже был не прочь, чтобы тот сел повторно — общего спокойствия ради. Еще у него в Москве сын, инвалид Чечни, которого Грек ездит по субботам мыть.

— Мне коляска нужна детская, — задумчиво сказал Грек. — Двойная. И манеж.

— Кого-о?.. — Васин замер с ледяной бутылкой в руке. — Не понял юмора? Рожать надумал, непосредственно?

— Люська, — кивнул Грек. — Занеслась.

Вот это новость! Оказывается, средняя дочь Грека, безработная, на старости лет забеременела, у нее определили двойню, и теперь она хочет получить с государства материнский капитал.

— Бог даст, вы-ыкинет, — пробасил Васин. — Нельзя же так.

— Не скажи, — повел головой Грек. — Уже закрепилось.. А-а... Пускай рожает, я детей люблю.

Эту дочь Грек не жаловал, но опекал — она была от любимой жены Зои. Когда-то из-за измены Зои он хотел застрелиться. Недавно он привез из Москвы старые полуслепые фотографии. На одной — он плывет в лодке по большой воде. Лицо спокойное, отрешенное... О чем он тогда думал, этот еще молодой, не знакомый мне Владимир Александрович Греков? Я уверен, что о своей любви, о Зое...

Нет, он не валет. Если загранпаспорт получил, автомобильные права восстановил — значит, с головой все в порядке. Правда, когда он всерьез мечтает реанимировать свой заросший крапивой “Москвич”, в котором два десятилетия жили куры, я снова сомневаюсь в его здоровье.

— А поехали все вместе в Болгарию! — вдруг предложил Грек, приподнимая от холода ворот пиджака. — Покупаемся. Жалко, Васину нельзя — вибратор.

— Вибратор у баб! — привычно рывкнул Васин, колдуя над ухой. — У меня стимулятор. В Болгарию он поедет... на лысом кабане. Наливай!

— Не спеши, Петя, — забеспокоился Грек. — Лучше кофейком переложим и так дальше...

— Можно и кофейком. — Васин теперь старается алкоголь не нагнетать. Чередует с кофе, который делает по всем правилам: в турке, на песке и помешивает, чтобы к дну не пришварилось.

— Слышь, Серый, а этот... америкос автобус починил? — с деланным равнодушием спросил Старче.

— Кто?.. Хуан?.. Починил. Заснул. Девушка его разбудила...

— Дала? — оживился Старче.

— В общем, да.

— А чего молчишь? Читай дальше.

“Заблудившийся автобус” съехал с бревна в рваный мешок с остатками цемента. Я сбил с книги серую пыль и стал на ощупь вслух собирать американскую девушку Милдред, листая страницы:

У нее была хорошая фигура, крепкие ноги с сильными тонкими лодыжками. Ляжки и ягодицы у нее были ровные, гладкие и плотные от тренировок... Груды у нее были

большие, тугие и широкие у основания.. Милдред уже пережила два полноценных романа, которые... породили тягу к более постоянной связи.. Она прошла по следу через двор мимо старой ветряной мельницы. В конюшне остановилась, прислушалась.. Потом.. увидела Хуана. Он лежал навзничь, закинув руки за голову.. Взгляд ее перешел на тело Хуана, крепкое, жилистое тело.. Брюки у него намокли от дождя и облепили ноги. В нем была опрятность — опрятность механика, только что принявшего душ. Она посмотрела на его плоский живот и широкую грудь. Она не заметила, чтобы он шевельнулся или задышал чаще, но глаза его были открыты — он смотрел на нее...

— У меня на Рыбинском море тоже цыганка была, Надя, — сказал Васин, снимая последний шум с ухи. — На Рыбинском судак тогда хорошо держался... На катере из табора увез. Потом, правда, бросил — струхнул, непосредственно.

Я видел пожелтевшее фото: худая красавица с косой за штурвалом катера, который Васин в молодости смастерил собственноручно, на борту имя дочери — “Мария”.

— ... У меня только-только Машенька умерла. Злой был, всех мог разметать. Надя меня успокоила. Мы с ней трое суток.. без пересадки, как..

— ... как самцы, — подсказал Старче, вспоминая свое. — Мы тоже, когда на сторожевике ходил, сорок узлов кидали запросто.

— Цыганка, — понимающе кивнул Грек, — опасно.

— Только не думайте, что я пошла сюда за вами, — сказала Милдред.. — Она поглядела на его руку, спокойно лежав-



Владимир Александрович Греков, он же Грек.

шую на соломе, — кожа была смуглая и блестящая, слегка морщинистая.. — Вы хотите?

— Конечно, — сказал Хуан. — Конечно.

... Он протянул к ней руки, и она легла рядом с ним на солому.

— Не будете меня торопить?

— У нас целый день, — сказал он...

— Уха готова, — сердито перебил меня Васин. Чтение зашкаливало за приличие, а интим на людях он отвергал. А кроме того, уж слишком внимательно меня слушали Грек и Старче, это его раздражало. — Почитал, и ладно.

— Слышь, Серый, а писатель-то живой?

— Умер. Переводчик живой, Голышев Виктор Петрович. Выпивали недавно...

— Привет передавай, — буркнул Васин, чтобы последнее слово было за ним. Его злило и мое близкое знакомство со знаменитостями. — Тоже нобелевский?

— Почти. Букеровский.

— Мужик с судьбой, — сказал Васин то ли про Хуана, то ли про автора, то ли про переводчика. — Я тоже жил... нараспашку. И бит был всем, даже — шестигранником. Жизнь не туда понес...

— Меня тоже разрежь — внутри все черно, — пригорюнился Старче.

— Ну и дурак! — брякнул Грек с чувством и сам опешил от своей грубости.

— Не понял.. — удивился Васин.

— Чего непонятного! — закипятился вдруг Грек. — Как мы жили! Голод. Нищета. В подвалах. Война. Поубивали всех напрочь! А мы — живые!.. Радоваться надо да Бога славить!

— Так я ж не жалюсь, я так.. — оправдывался Старче.

— Сними нас, — попросил меня Грек.

В зрачок фотоаппарата они виделись мутно. Я протер пальцем объектив и сам поморгал: может, глаза от костра слезятся. Но нет, что-то другое мешало и мешает мне всегда увидеть это трио резко. Дым времени, пелена другой жизни? Вижу я их плохо, но уверен, что они — соль земли.

— Можно к вам? — прошелестел сломанный полудетский голосок. — Пожалуйста.

Возле калитки сиротливо стояла Ларочка с сумкой в руке. Обветшала, лицо воспаленное... Зубов явно побавилось.

— О! Довела себя... кошёнка заношенная... — брезгливо поморщился Васин. — Набрякла вся.

— Убью-ю, — просипел Старче.

— У Петра Иваныча день рождение было..

— Было, есть и будет. Ты на рождение не спирай! Виновата, непосредственно.

“Не спирай” записал я украдкой на ладони для памяти.

— Убью, — повторил Старче и окрысился на меня: — Чего ты все пишешь!

— Убейте, Петр Андреевич. — Ларочка опустила на колени. — Убейте меня.. Я виновата..

За спиной коленопреклоненной Ларочки, обрывая полезный разговор, прошла семья садовых огородников, неодобрительно косясь в нашу сторону.

— А ну, встань! — рявкнул Васин. — Театр устроила!.. Стоит, как рябина под дождем.. Приперлась — заходи.. Присаживайся, непосредственно.

— Пьешь всё? — сочувственно спросил Грек.

— Простите меня, дедушки. — Ларочка стояла на коленях и плакала.

— Ты на слезу не выгоняй, — пробурчал Васин. — Подними ее, Грек.

“На слезу не выгоняй”, — повторил я про себя, чтоб не забыть.

Грек галантно подал Ларочке руку кренделем.

— Пойдем, покушаешь.. Сопельки утри.

Она потянула из грязной сумки розовый вязаный шарф.

— Это Петру Иванычу..

— Благодарствую, — буркнул Васин, воздерживаясь принять подарок.

Грек поставил дополнительный чурбан на попу, усадил Ларочку рядом с собой, подальше от Старче.

— Сопельки утри, — напомнил он.

— Да не шарфом! — Старче ткнул ей марлю из-под ершей. — Кто ж тебе весь передок-то выставил?

Васин издали подозрительно рассматривал шарф.

— Я такой вроде.. у Валерки Шуляева видел?..

— Я сама связала.. — заплакала Ларочка вторым заходом. — Шерсть осталась..

— Ладно-ладно.. — Васин взял шарф, намотал на шею. Он знал, что Ларочка практически не ворует. — Водки или самогону?..

— Во-одочки.

Васин поставил перед ней тарелку с ухой.

— Спасибо, я сыта.

— Есть не будешь — не налью.

Ларочка взяла ложку.

— Сережа, а что было потом с девушкой Милдред?

— Кончилось все. Домой пошла. Кушайте, Ларочка.

К Ларочке я питаю особые чувства. Она выпускница Можайской женской колонии. Она со всеми “на вы”, даже с детьми. Никто из дачников, даже самых отстойных, не может про нее сказать ничего дурного. Пьяная, она тихо беседует сама с собой, улыбаясь. Трезвая работает как зверюга, без перекуров. Как-то напросилась ко мне колоть дрова. Руки у нее были чуть не вдвое тоньше топорщица. Мне стало неудобно. “Не надо меня жалеть, занимайтесь своим делом”, — вежливо сказала она.

— А можно за вас выпить, Петр Иванович? — прикрывая цыплячьей ручкой беззубый рот, пролепетала Ларочка. — И за Петра Андреича. И за Владимира Александровича. И за Сережу.

— И за вас, Ларочка, — сказал я.

Старче потянулся к ней чокнуться, злость у него прошла.

— Что ж ты, Ларка, сучара, сделала..

Садовые огородники прошли в обратную сторону, по-прежнему недовольные. Васин упорно их не замечал. Мне показалось, они нам завидовали. Ибо у нас за забором, несмотря ни на что, дышала почва и судьба, а у них — хрен ночевал. А может быть, я опять ошибаюсь.

Томочка

На своем сорокапятилетии я расчувствовался: “Земную жизнь пройдя до середины...” Мой свояк прорезвел от подобной наглости: сорок пять — вперу ласты склеить, а он — лишь до середины доканал!

Я затащил его к нашим на Ваганьково, зять опешил: вся отцова родня зашкаливала за девяносто. И по линии матери прожиточный минимум — восемьдесят пять лет, без рака, без сосудов. Однако в почке моей мамы завелась гнида. Почку пришлось отрезать, и мама продолжила житье.

Родилась она в 24-м году в беспартийной мещанской семье (моя бабушка Липа до конца говорила “табаретка”, “жезлонг”, “жизофрения”). Томочка росла круглой отличницей: по учебе, спорту, красоте и чтению художественной литературы, хотя книги в доме не водились. И пришла ей пора вступать в комсомол. Но она заартачилась. Не корреспондировала лихая година с Пушкиным, Чеховым, Толстым... Ее постращали в школе, пожурили дома и отступились. Летом 41-го она собралась на фронт, ее нарядили в Басманную больницу, в госпиталь... На фронт

расхотелось. В эвакуации Томочка окончила школу. С драгметаллом в стране была напряженка, ей вписали в аттестат “с золотой медалью”. И уже в Москве без комсомола поступила в МГУ на восточный факультет: к литературе поближе, от идеологии подальше. В доме опять переполохались: зачем Восток, не нужен нам берег турецкий! Но Томочка привычно — с отличием — окончила университет, по инерции защитила кандидатскую.

В Ленинке ее высмотрел мой папа. Оба влюбились. Томочка безоговорочно, а папа Женя с раздумьем, ибо был в послевоенном дефиците и малек покуражился, не желая так сразу обручаться. А на дворе тем часом начался жидобой. Томочка как правоверная жена рвалась принять фамилию мужа Беркенгейм, на что папа Женя вопил как потерпевший: “Тома, ты рехнулась!..” Еле умолил ее остаться, как была в девах, — Калякиной-Калединой.

Бабушка Липа снисходила к выбору дочери и в разговоре с соседями сохраняла объективность: “Женя наполнила еврей, но из хорошей семьи”. А дедушка Георгий загрустил. Он вообще считал, что человек, прежде чем родиться, должен принять граммов сто пятьдесят, мечтал на законном основании захмеляться рука об руку с зятем, а тут — облом.

Страна в те годы была нерушимой и многонациональной — на Томочку был спрос. Она работала в Гослите редактором, вела творческий семинар по азербайджанской литературе в Литинституте, работала консультантом в Союзе писателей и переводила толстые восточные романы. Сокращать себя авторы не давали: казна платила с листа. Странное дело, ей, веселому человеку со вкусом, эта долгоиграющая писанина нравилась. Но иногда она

швыряла рукопись, вцеплялась в волосы и хрипло выла: “Не-е могу-у!..”

Восточные гости не покидали наш дом. Аллах запретил им сок виноградной лозы, они пили водку. Среди них были солидные люди: секретари Союза писателей, начальники. Один пожилой туркмен с депутатским значком на лацкане меня заинтересовал — у него не было уха. Я дождался, когда он загрузится алкоголем, и робко поинтересовался: а где у вас ушко? Дядя, расслабившись, рассказал, как в детстве пас овец, но прилетели аэропланы, убили весь аул, попало в ухо и ему. “К вам немцы прилетали?” — уточнил я. Туркмен, мигом протрезвев, засобирился в гостиницу. Мама негромко пояснила, что так советская власть выводила басмачей. Я рыпнулся в автобиографическую книгу туркмена: детство было, овцы были, аэропланов не было.

Всю жизнь я удивлялся: кто же читает мамины переводы? Впрочем, один верный читатель у Томочки был — ее отец, дедушка Георгий. Ему очень нравился, к примеру, роман Берды Кербабаяева “Решающий шаг”, где свободным трудом строился ненужный Каракумский канал. Позже я узнал, что в молодости Берды Мурадович был секретарем у легендарного басмача.

Восточные писатели даже пьяные вели себя достойно и сдержанно. Но проколы случались. У одной заслуженной дамы в роскошном китени родился долгожданный внук, она не могла нарадоваться. “Тамара, — забыв об осторожности, восклицала она. — Это не мальчик, это басмач!”

Мама много работала, воспитывать меня было некогда. Я плохо учился, маму часто вызывали в школу. Ей надоедало объясняться с директрисой, она посылала вместо себя



Томочка в 17 лет.

подруг побойчей. Иногда мама помогала мне в учебе. Накручивая перед сном волосы на бумажки, она споро решала алгебру. А теперь сам, говорила она. Я канючил: не получается. Мама раздраженно выдергивала папилытки из головы и угрожающе шипела: “Через десять минут не сделаешь — измордую”. Дедушка Георгий, выпив слегонца, порой гладил любимую дочку по головке: “А хочешь, я его по темечку молотком тюкну. Ты денек-другой поплачешь, а зато потом какая жизнь начнется!..”

Чтобы улучшить ситуацию, я начал врать: “терять” дневник, расписываться за родителей и т. п. Томочка, обнаружив случайно в дневнике истошный вопль классной руководительницы: “Тов. родители! Кто расписывается за вас в дневнике фамилиями Маркин и Кузнецов? Примите меры!”, педагогировала кратко: “Будешь врать — убью!” А что мама запросто может пришибить, я не сомневался, ибо был свидетелем убийства. Ехал мужик на грузовике. Пацан кинул в него снежок. Мужик отловил хулигана, стал теревить. В это время шла мама, оживленно беседуя сама с собой, не доспорив, видимо, с кем-то на работе. С сумками наперевес она бросилась на мужика и, как нунчаками, стала молотить его авоськами по голове. Слава богу, она была в тяжелой шубе и скоро выдохлась. Мужик остался жив. По его лицу текла кровь вперемешку с разбитым кефиром. Потом мама чинила ему голову. Отойдя от стресса, он восхищенно пробормотал: “Ну, баба, ты даешь!..”

Меня мама не била. Впрочем, вру. Лет десять назад на даче, оторвавшись от машинки, я тишком убрел со двора по пьянствовать с Васиным. Стоял ясный день, у ног бродили разноцветные куры, лениво зевала кошка, мы пили вдохновенный самогон, настоящий на черносмороди-

новых почках, закусывая чесноком с грядки. Мама, запоздравив неладное, навестила нас, опираясь на роскошную палку из можжевельника. И без разговора ударила меня по голове. Палка сломалась. Я, утирая кровь с лысины, вскричал:

— За что? Убить могла!..

Матушка вяло махнула рукой:

— Не велика потеря для отечества. Палку жалко.

— Не волнуйтесь, Тамара Георгиевна, — засуетился ошалевший сосед, — я вам новую палочку спроворю.

Васин был прикинут по-утреннему — в белоснежных гринсбоновых кальсонах и калошах. Покидая поле битвы, Томочка сдержанно одобрила его наряд:

— Ты, Петь, прямо как Джавахарлал Неру.

На самом деле я, конечно, знал, за что огреб. Не за факт пьянки, а за то, что смешал сухое дело с мокрым. Мама всегда наставляла: “Не хочешь работать — закрой машинку, гуляй открыто. Но не делай вид, что работаешь, не обманывай сам себя”.

Зачем-то мама перед разводом с отцом родила дочку. Отцовство было какое-то время сомнительным, ибо маму в то время безумно любил поэт Владимир Львов. Так они и пришли в роддом: с одной стороны дядя Володя, с другой — папа с товарищем на случай возможной схватки. Но мама ушла и от папы, и от Володи. Папу она любила, но не уважала, а Володю — наоборот. У него катастрофически отсутствовало чувство юмора. Ситуация разрешилась трагически. По невыясненной причине Володя утопился. В бассейне “Москва”. Коситься, разумеется, стали

на Томочку, Евтушенко перестал с ней здороваться. Через десять лет у костра я услышал, как студенты поют очаровательную песню про Тамару. Я поинтересовался, чьи слова? Оказалось, Володиной. А “Тамара” — Томочка.

Прочитав в “Вечерке” про развод с “гр-ном Беркенгеймом Е. А.”, мама всплакнула, но не затяжно. Природа не терпит пустоты. Матушке было тридцать шесть. Мужики на Москве оборачивались ей вслед, а что творилось в подведомственных Азербайджане и Туркмении — не пересказать! А уж когда мама начинала торговаться по-турецки на рынке!.. Да что рынок! Томочку увидел в Баку сам Назым Хикмет и сделал стойку. Оправдываясь за толковище на официозном курултае, чему она была свидетелем, он подарил ей книгу с припиской под фото: “Тамара-ханум, этот восточный дурак не я”. Там же — сердце, пронзенное стрелой. Стрела полетела за Томочкой в Москву, и она, конечно, влюбилась в Хикмета. Он смешил ее, рассказывая про себя негероические байки. Например, как Маяковский перед его выступлением в Политехническом сказал: “Не бойся, турок, все равно не поймут”. И ни слова о турецкой тюрьме и легендарном побеге на моторной лодке... Но мама устояла, она привыкла распоряжаться своей жизнью самостоятельно.

И потому в санатории в Подлипках выбрала столик у окна, за которым сидел неважно одетый дядька, Иванов Аркадий Дмитриевич, начальник модельного цеха ракетного завода. У Аркаши не было легкого (туберкулез), но была неразведенная злая жена и две злые взрослые дочери. Жена написала в партком. Секретарь парткома, Аркашин друган, посоветовал: “Разведись с заразой, а выговор мы через год снимем”. Жена пришла к нам в Басманный.



*Папа Женя, бабушка Саша, бабушка Липа, Томочка
и очень маленький я, 1950 г.*

Женщины поговорили. На обратном пути жена завернула ко мне в школу и сообщила, что мать Сережи Калякина-Каледина — блядь, чем порадовала директрису.

Пока мама с Аркашей женихались, меня откомандировали к отцу в Уланский переулок. Контроль надо мной был окончательно потерян, родня с обеих сторон жалела меня, закармливая на убой. Я радовался, как мальчик Мотл из Шолома Алейхема: “Мне хорошо, я сирота!” Я жалел отца, но обожал мать, чем вызывал раздражение тетки, сестры отца. “Тамара, ты создала у сына свой культ”, — выговаривала она маме по телефону. “Создай свой”, — смеялась Томочка.

Аркаша кадрил маму по высшему разряду. Кроме модельного цеха под его началом была ведомственная водная станция, и, стало быть, по субботам Аркаша встречал Томочку после работы в Химках на катере, заваленном цветами, и они уплывали любиться на живописное водохранилище.

Летом мы снимали в деревне дом у реки, впадающей в Учинское водохранилище. Аркаша заплывал на своем “Шустрике” в тихую прозрачную Учю, заросшую кувшинками, протискивался под разваливающимся мостиком и тормозил катер у нашей избы. И отправлял меня с деревенскими в ночное — стеречь технику. А там — печеная картошка, рыбалка, курицево... Утром катал всех на водных лыжах.

Разумеется, Томочка вознамерилась завести ребеночка, но внематочная беременность перебила резвые планы молодоженов. И слава богу, иначе, боюсь, я оказался бы на периферии ее внимания, ибо Аркаша меня не любил.

Не любил за лень, за нерадивость, но терпел как приклад к обожаемой жене. Я же его уважал безмерно, считая

эталонном мужчины. Он ничего не смыслил в литературе, зато был мастером спорта по стрельбе, лыжам, коням. Рисовал, фотографировал. Умел делать все. Даже настроил бросовый рояль, увидев его впервые живьем. И ничего и никого не боялся. Нет, боялся, был грех. После расстрела отца боялся первой жены, она грозилась, если что, заложить его в НКВД.

Мама зарабатывала много больше его, но финансовый антураж жизни был таков, что Аркаша не испытывал неудобств и с этой пикантной стороны.

Он был единственным мужчиной в жизни Томочки, который ей был по росту, не жал в плечах. Злые бабы фыркали: за столяра лысого вышла, умные по-хорошему завидовали.

Но многим мама жизнь подпортила. Отец после нее так и не женился. Да и я невольно сравнивал с ней всех своих барышень и жен. Свою дочь, мою сестру, мама тоже дезориентировала. Наставляла, что в женщине главное — глаза, душа... Все остальное, мол, ерунда. Вольно ей было так проповедовать, если у нее и все остальное было по люксу.

И все же дефекты в ее образе были. Например, она мечтала завести красивую торжественную болезнь типа гипертонии, на худой конец подагры. Что-нибудь хроническое, но не очень смертельное. Силком заставила мою первую очаровательную тещу-врачиху выхлопотать ей вторую группу по стенокардии. Агнесса недоумевала: “Нет у вас, Тамара Георгиевна, никакого сердца. Вот у Аркаши есть, и он, по всей видимости, с ним не заживется. А у вас просто щитовидка барахлит”. Мама Агнессу невзлюбила.

Схоронив Аркашу, мама призвала папу Женю, и он послушно служил ей до конца. Мне такой поворот сюжета

не нравился. Отца я любил, но Томочка “еще не истоптала башмаков, в которых гроб... сопровождала”. Мама прояснила ситуацию незатейливо: “Это я делаю для вас, для детей”. Она слегка сбилась с арифметики: дети к тому времени были уже типа перестарки.

Жен моих мама не жаловала, но спокойно. А вот к кому у нее была страстная ненависть на протяжении тридцати пяти лет, это к моему другу и учителю жизни, отставному десантнику, конструктору парашютов Леониду Михайловичу Гуревичу. А тот в свою очередь ее ревностью очень гордился.

После удаления почки мама накручивала километраж: один год, второй, третий... На одиннадцатом гнида обнаружилась и во второй почке. Мама привычно не испугалась, а я припух. Что делать? Как быть? Пересадить свою почку, купить чужую? Умные люди посоветовали не пороть ахинеи. Значит, срок. Но я решил ахинею чуток попороть. Аккурат по ТВ тетя-профессор рассказывала, как вылечила рак у себя и лечит у других живой водой. В смысле, ядом. Яд — “Витурид” — настой солей ртути. Чем-то подобным в свое время извели Ивана Грозного. Я связался с ядовитой тетей, и под “Витурид” Томочка накрутила еще пять лет. Но уже не совсем своих, видимо, яд разрушал не только опухоль, но и личность. Я в этом (при ее жизни) не разобрался, обижался на нее и ее обижал. Но мой рассказ не про больную маму, а про Томочку. Кстати, почему — “Томочка”? Бабушка Липа назвала ее по опере “Демон”. Мама свое рокошущее имя ненавидела. И заставляла всех звать ее только Томочкой.



Томочка за очередным переводом.

Спасала она меня всю жизнь. Сначала — в стройбате. Я был уверен, что живым мне оттуда не выбраться. А потом спасла уже раз и навсегда.

После армии я хотел поучиться, но комсомольцем, копируя мать, не был. На рабфак филфака МГУ меня не взяли. Томочка, натужив старые связи, поступила меня в Литинститут на переводчика.. с татарского. Очного татарина из меня не получилось, перевелся на заочного критика. Учеба замерла. Первый диплом за меня написала третья жена, пока я был на шашке. В Москве я прочитал, что “написал”, — волосы встали дыбом. Я взял академический отпуск, потом второй и вообще решил бросить эту канитель. Уж очень благодатная жизнь была вокруг. Я развелся в очередной раз, у меня была квартира, какие-никакие деньги. Мы валялись на кошмах у меня в Бескудникове с разнополыми бездельниками, пили саперави по рубль сорок, варили хаш из костей по двадцать шесть копеек, играли на бамбуковых флейтах, короче, гнали дуру. Жить мне помогало красное удостоверение: на одной стороне “Клуб. Художественная самодеятельность”, зато на другой — золотое тиснение “ПРЕССА”. Внешнего вида удостоверения было достаточно в курьезных ситуациях, хотя внутри рядом с моей фоткой значилась “Калякина-Каледина Елена Евгеньевна, машинистка”. Сестрино удостоверение.

И вот тут-то посреди этого благоденствия нагрнула Томочка. Она была нагружена скарбом, из узла торчала ручка скороварки.

— Чем обязан, матушка?

— Хочу убедиться, сын у меня полный кретин или нет? Диплома сраного написать не может!..

И заперла за гостями дверь.

— Я к тебе на месяц. Буду тебе варить-стряпать. Телефон отключаю. Вечером моцион. — Она рассеянно подошла к окну. За окном черным дымом коптила мусоросжигающая фабрика. — Ты, кажется, на кладбище работал? Прекрасная тема, свежая, незастолбленная. Сядь и напиши пятьдесят страниц.

Я отсчитал ровно пятьдесят страниц и в конце последней зеленым фломастером жирно вывел: “П...Ц!”

Как ни странно, через месяц я подобрался к заветному слову. Мама прочтала, сказала “прекрасно” и укатила. Я ей не поверил, ибо помнил, как страстно она расхваливала восточных авторов. Но ее диагноз подтвердили независимые эксперты. У меня отросли крылья, и я в охотку трещал ими десять лет, пока не напечатали. В эти годы мы с Томочкой жили-работали на даче или в приснопамятных Домах творчества, где нас иногда принимали за супружескую чету, но чаще за мать с сыном-графоманом. Перед глазами она не маячила, но, когда я упирался в сюжетный тупик или мне не хватало слов, тут же возникала: идем чайку попьем, так ничего не высидишь, по себе знаю. И сокращала безбожно, резала по живому, с остервенением, как бы вымещая на мне злобу на неприкосновенных восточных авторов, которых все еще переводила и которые нас кормили все эти десять лет. Когда “Кладбище” напечатали в “Новом мире”, я спросил ее: довольна? Оказалось, нет: “Еще два раза напечатайся в “Новом мире”, уважь глупую мать, упокой ее старость, тогда отстану”. Злые языки утверждали, что Тамара пригнала главному редактору вагон азербайджанского коньяка. Мама наветы не опровергала. Я ей подыгрывал: и Бога, мол, маманя забашляла.

После моей третьей публикации в “Новом мире” мама поутихла. Теперь она вынашивала другую идею.

— Вот до шестидесяти лет тебя доведу, потом пару лет на переподготовку — и хватит. Довольно. Лучше ты уже не напишешь, а хуже — не надо. Делать тебе на этом свете больше нечего. Болеть, пьянствовать.. Ни к чему. А я с тобой за компанию. И тебе хорошо, и мне спокойно.

Но умерла она досрочно. Перед смертью в бреду разговаривала с Володиёй Львовым.

Моя бы воля, похоронился бы впополаме: к Томочке — в Химки и к отцу — на Ваганьково.

Кроха

Разведясь с первой женой, я понял, что поспешил, никого в браке не родив. Оплошность мы с Лялей исправили, наскоро произведя на свет Димку уже вне брака, я его усыновил. Собралась еврейская родня, проще говоря, мишпоха. Я растроганно открыл торжество: “Да создаст же Господь такую кроху!” Родня запричитала: носик — мамин, ротик — папин... Мой друг и учитель жизни Леонид Михайлович Гуревич морщился, но терпел клетот. Наконец не выдержал: “А пипочка, попочка — вылитая бабушка Олимпиада Михайловна”.

Первые тринадцать лет я общался с Димкой через пень-колоду: жило дитя с матерью, и она, владея им единолично, регламентировала наши отношения. В результате Димка называл мою мать, свою бабушку, Тамарой Георгиевной.

И вот на повестке дня Ляли встало переселение в Израиль. А меня в то же время пригласил Гарвардский университет на полгода с семьей. Организовал американскую поездку министр обороны маршал Язов. Он запретил публикацию “Стройбата”, а далеко на Западе высокие славя-

сты в это время обсуждали, кого позвать в Гарвард, — выбор пал на меня, обиженного.

Мы с Лялей заключили мировую: она отпускает со мной Димку в Америку на полгода, а я отпускаю сына в Израиль навсегда.

Университет положил мне лихое жалованье, снял двухэтажную семикомнатную квартиру с зеркальной каминной залой. Я поинтересовался, нельзя ли хатку поскромнее, а разницу мне — наликом. Оказалось, нельзя. На мой вопрос: что я должен делать, посоветовали купить машину и покататься по Америке. А перед отъездом что-нибудь рассказать студентам о России.

Наум Коржавин определил Димку в школу к товарищу. Товарищ составил необременительный учебный план: пение, рисование, физкультура; в качестве прокладок — математика, английский, немного физики. И снова — рисование, пение, спорт. В первый же учебный день Димка был бит негритенком-соучеником. Потом они подружились. Димка с завистью рассказывал, что Джон носит футбольные бутсы с шипами, чтобы ноги при драке не скользили.

Но поучиться ему толком не довелось. Начались каникулы. О Димке прознала Клира, громкоголосая, яркая русско-еврейская американка, оборотистая общественница. Она сказала, что у мальчика “хорошо работает финкинг пат”, и в компании американских учеников из дорогой школы увезла его во Флориду, взяв обещание, что не проболтается про грядущий Израиль. Просто мальчик из России — наглядное учебное пособие. В уплату Клира сводила нас в крутящийся над Бостоном ресторан типа “Седьмого неба” в Останкине.

А мы с женой купили в рассрочку за 400 долларов багряный допотопный “Понтиак ла манш”, у которого

вместо сидений были диван-кровать. И поехали в путешествие: Гарвард организовал мне выступления в других американских университетах.

Клира была от Димки в восторге и увезла его в следующий учебный вояж. Затем передала по эстафете товарке и коллеге Лире. (Ли́ра и Клира! — не вру, истинный Бог.) Поучиться в американской школе ему практически не удалось, но в английском сильно продвинулся.

Накануне его отлета в Тель-Авив мы вспомнили про Ниагару. Времени оставалось мало — я гнал на запрещенной скорости, благо в Америке гаишников нет. Но один-таки нашелся — в шерифской шляпе, с псом на заднем сиденье, — загородил нам дорогу машиной.

— Отец, сиди тихо, — мигнул мне Димка, держась руками за живот, вылез из машины и, страдальчески морщась, начал лечить шерифа, прозвучало слово “понос”.

Оказалось, засекли нас на выезде из Бостона, но не цеплялись сто миль, пока не убедились, что в странном автомобиле команда наркоманов. Теперь гаишник разобрался, он пошлет протокол в суд вместе с подтверждением, что мальчик в дороге заболел. В суд нам являться не обязательно, нас накажут заочно, не строго. Имеем ли мы сейчас необходимые медикаменты от диареи? Может быть, нужна госпитализация, он запросит помощь по рации?.. Я был умилен: как хорошо мальчик говорит по-английски, к тому же — артист, творческая натура.

Через год я полетел в Израиль его проведать. Две недели мы катались по городам и весям. Про школьные успехи я спросить забыл, а Димка и не напоминал. Он лихо бол-

тал на иврите, английском, понимал по-арабски. Высокий, красивый, веселый... Мы купались в Иордане, шустрой речонке, цветом и консистенцией походившей на кофе с молоком; забрались в горы. Внизу была долина, орлы летали кругами, почти чиркая нас бурыми крыльями, окаймленными с испода белой полосой.

Димка познакомил меня со своей барышней, высоченной красавицей с избыточными формами и низким сексуальным голосом, очень вялой. Она была внучкой знаменитого советского писателя, нигде не училась, сказала, что зарабатывает журналистикой и предпочитает лесбос. Лидером в их двойке несомненно была она.

От этого соревновательного романа у Димки на запястье остался маленький шрам и очерк "Гуд бай, Америка!" в местной газете. Очерк мне понравился, я возликовал: будет журналистом, а школа — необязательно, захочет — самообразуется. Смущало равнодушие сына к Израилю. Мои увещевания, что, мол, Израиль — перекресток трех религий, что он уникален, его не понимали.

Мы поехали к родне в далекий кибуц в опасном районе. Кибуц выращивал помидоры кубической формы (для экономной транспортировки), кроме того, производил армированные шланги. Деревня справляла день рождения. На огромной поляне горели костры, столы ломились, народ гулял полным списком — и стар и млад. Праздник гремел до утра, все ели-пили, пели и плясали, над гульбищем реяли бело-голубые знамена с шестиконечной звездой Давида. И я ударился плясать, а Димка морщился и деланно зевал. Под утро мы пошли посмотреть, как кибуц охраняется во время пьянки. Помнится, арабы в последнюю войну чуть не одолели Израиль, аккуратно когда евреи гу-

ляли в Судный день. Периметр кибуца был охвачен высоким проволочным ограждением, возле ворот стоял джип. Из машины вышла девушка в купальнике, присела пописать. За рулем — парень в плавках с автоматом на коленях.

— Шолом ми Ерушалайм, — сказал я.

Барышня улыбнулась.

Я поинтересовался, давно ли они на атасе, когда смена караула? Димка перевел. Они засмеялись. Дежурят уже пятьдесят лет (сегодня юбилей), сколько осталось — сказать затрудняются.

А в Москве жизнь продолжалась: меня переводили, ставили в кино, на театре... От сына я отвлекся.

Незаметно подошел ему срок идти в армию.

— Просись в десант! — орал я по телефону. — Сейчас у вас затишок, арабы утомонились, вернешься — станешь дипломатом, разведчиком, писателем, как Лоуренс Аравийский...

Однако сынок тятю не услышал: сыграл малохольного, обманул медкомиссию и определился в каптеры танковой базы, что в центре пустыни Негев. Как же, думаю, ты там три года отдежуришь в жаре, в безделье? А впрочем, чем плохо: солдат спит, служба идет. Димка обложился художественной литературой и читал взахлеб. Я утомонился: тоже в стройбате всю библиотеку перечел.

Но через полтора года Димка взвыл: больше не могу, помощи! Я припомнил свой стройбат, испугался и понесся в Израиль извлекать замученное дитя из армии.

Местные, друзья и просто смышленные люди, недоумевали: что за шустрость не по разуму? Дедовщины в еврей-

ской армии нет, кормежка прекрасная, увольнение каждый уикенд. Случился, правда, как-то один удалец из русских — застариковал, но ему впаяли пять лет тюрьмы, и все остались довольны.

Израиль хоть и находится почти в Африке, ведут себя там евреи по-европейски — долго переубеждать меня не стали. Дали советы, придали молодую даму — театрального режиссера с хорошим ивритом и свободным временем. Напоследок еще раз предупредили: дело безнадежное, у нас из армии просто так не отпускают, у нас служить — почетно.

Димка пришел в увольнение смурной, погашенный: в армию не вернусь, лучше — в тюрьму. Я велел: тихо будь, забейся в щель. А сам прикинул: на худой конец станет дезертиром. Сколько за это дадут? Год, два?.. Не сахар, конечно, но терпимо, у евреев тюрьма не нашей чета.. Чем полтора года еще в пустыне без толку париться, лучше — столько же в неволе отторчать. Жизненный опыт, литературный материал. Папаша на Пятницком кладбище карьеру начал, сынок — в израильской военной тюрьме.

Пустыня Негев летом — ад кромешный. Как здесь Иоанн Креститель босиком шастал — непостижимо: под ногами красный раскаленный дробленый камень. С полковым психологом я встретился в кафе неподалеку от базы. Психолог оказался миниатюрной тонкокостной красавицей с палевой, нежнейшей выделки лайковой кожей, чуть подернутой прозрачным пушком возле ушей, лейтенантом по званию. Первый вопрос: “Где Дима?”

И меня понесло... Зачем вашей еврейской армии мой русский гуманитарный мальчик? Отпустите его на волю, он будет учиться в университете. В университете от него будет



Мы с Димой.

больше толка, чем в каптерке танковой базы. А то как бы он с собой чего не натворил, психика у него неустойчивая. Тем более у нас в роду наследственный алкоголизм..

Красавица вопросительно взглянула на меня, потом на переводчицу.

— Да-да, — оживленно закивала та. — И папа, и дедушка, и бабушка..

Оттолкнувшись от алкоголизма бабушки, моя спутница актриса-режиссерша стала переводить страстно, в голос, со слезой, заламывая руки. Посетители кафе замерли — не каждый день спектакль на халяву. Я давно уже смолк, но она еще долго проникновенно переводила вперед, как бы авансом. Лейтенантша заскучала, лениво помешивая ложечкой растаявшее мороженое, я чувствовал, что словоговорение ей до фонаря. Наконец она перебила переводчицу:

— Здоров ли Дима в настоящий момент?

Я уловил ее профессиональный служебный интерес.

Когда-то я безуспешно пытался пробиться на личную встречу с главным военным цензором генералом Филимоновым, запретившим публикацию “Стройбата”. Отчаявшись, я заявил, что, если мне откажут в свидании, я самоубьюсь прямо в телефонной будке. Шантаж удался — свидание состоялось.

— Дима здоров, но склонен к су-и-ци-ду... — по складам произнес я. — В его медицинской карте есть об этом запись..

Переводчица напряглась, но незаметно кивнула: мели дальше. Ни про какую медицинскую карту я, конечно, и понятия не имел, но след любви на запястье сына вспомнил.

— Шрам на правой руке, — добавил я мрачно.

Лейтенантша встала, поправила пилотку под погоном.

— Я буду писать отчет о нашей встрече, — сказала она. — Но Диме лучше вернуться на базу. Иначе он дезертир. Израильская военная тюрьма гуманизирована, но все-таки не мюзик-холл.

Я перевел дух: кажется, что-то получается.

— Не хотите чего-нибудь выпить? — спросил я.

— Я не пью с водкой, — неожиданно по-русски с улыбкой сказала она. — Мой русский дедушка на обед всегда брал биру... пиво. Я понимаю русскому, говорить не делаю.

Через три недели Димку отпустили из армии. Не комиссовали, как психорахита, а просто отпустили на все четыре стороны, предупредив, что о любой государственной службе он может позабыть.

Победу мы праздновали в Гефсиманском саду. Точнее — за оградой сада, во всяком случае — на Масличной горе. До нас здесь тоже, видать, праздновали: в колючей траве были разбросаны пивные банки, окурки...

Я вел беседу о трусости. Ибо она источник всех пороков, в первую голову — лжи. Общение же с трусом невозможно и опасно из-за непредсказуемости... Димка зевал: все это он слышал от меня не в первый раз.

— Достал, отец. Ты прям как еврей. Здесь хоть и святое место, но ведь не хедер. Давай я тебе пивка холодненького пригоню?

Внизу у Яфских ворот Старого города стоял снаряженный к туризму верблюд. В стороне пожилой араб пас коз в оливковой роще, один козел забрался на дерево и драл там лыко. Орал осел, зачатенный за кипарис.

Пока Димка гонял за пивом, я подбивал бабки: кто ж из него получился? Итогом остался доволен. Пацан добрый, не завистливый, остроумный, любит читать, обязательный, детей любит, зверей любит. Ну, не любит учиться. А кто из молодых любит. Ну, подвирает малек для успокоения родни, а кто без греха!

В Москве я вспомнил про наш с ним гефсиманский уговор: я его извлек из армии, он — поступает в университет. Но на его лицевом счету всего семь классов.

Однако Димка проявил борзость, прилетел в Москву, скоренько “окончил” школу, короче, добыл аттестат.

Благодаря отчиму, знаменитому математику, профессору Тель-Авивского университета, Димку забесплатно приняли на факультет востоковедения. Я ликовал, гулял и хвастался сыном направо и налево.

Но учиться в университете сложно вообще, на иврите — вдвойне. Университет он бросил. Но это еще полбеды, узнал я об этом только через два года. Я вознегодовал, прекратил было с ним отношения, но для верности снесся с отчимом: как он — профессор, преподаватель — смотрит на картину? А тот смотрел своеобразно: “На лекции ходить вообще вредно, коллективное обучение — профанация..” Легко ему так говорить, когда сам мехмат кончил за четыре года, а вместо диплома защищал кандидатскую. Я бесновался, орал, что вычеркну Димку из списка!.. Жена урезонила: не стучи лысиной по паркету, он с тебя пример берет, вспомни. Я вспомнил. Верно, было дело: в девятом классе меня оставили на второй год, исключили из школы, аттестат я получил экстерном, поступил в технический вуз, который на втором курсе бросил.

Пока я пережевывал ситуацию, Димка заделался корреспондентом “Московского комсомольца” в Израиле. Вот тебе на-а!.. Рахитом был, а ходит. Я притих. А он творил угары, да какие!.. Одной рукой взял интервью у премьера Натаньяху, а другой — у легендарного террориста, парализованного слепца шейха Ясина, которого вскоре взорвали. И тот его не только не зарезал, наоборот, приветил — угощал сладостями и чаем. Димке неведомым образом удалось сокрыть от убийцы, что он израильтянин, при себе у него был русский паспорт.

Димку в “Комсомольце” я читал регулярно. Сначала нравилось, потом сквозь текст проступила лень. Он перебрался в “Общую”, но нерадивость скакнула за ним следом. Я сказал ему, что так дело не пойдет: не можешь, не хочешь — брось, к буквам надо относиться с трепетом. Он и бросил, не сильно кручинясь. А в противовес опубликовал несколько рассказов в московских журналах, и они понравились не только мне, но и серьезным людям. Конечно, я ему помогал, редактировал. Но добил он меня окончательно, когда стал вести еженедельную часовую передачу на израильском радио в прямом эфире “Солдатский перекресток”. Видит бог, я к этому не причастен. Тут уже к нему потихоньку, на цырлах, стала подбираться слава. Его узнавали по голосу на улицах. Я раскатил губу: зрил сына ведущим на ТВ. И, разумеется, зарекся советовать: ученого учить — только портить.

В эти годы я много ездил с “Гаудеамусом”, спектаклем Льва Додина по “Стройбату”. Благословенная пора! Как соберусь куда, звоню Димке. Он, вольная птица, летит ко мне в Париж, Милан, Берлин.. В Париж тогда заплыл на своей кругосветной яхте “Патриция” мой то-

варищ, диссидент и авантюрист Саша Берман. Берман путешествовал по земному шару морским автостопом. Когда кончался бензин и провиант, подплывал в море-океане к любому судну, и его с восторгом отоваривали необходимым. А когда кончались деньги, подрабатывал на берегу — учил желающих ходить по канату. Нам с Димкой Берман устроил райское наслаждение — катал на яхте. Ночью по Сене плавала “Муха” — музыкальный речной трамвайчик с мощными зенитными прожекторами на Эйфелеву башню и прочий парижский пейзаж, а мы сбоку, как прилипали. Конечно, не под парусами (на узкой Сене не разгуляешься) — на моторчике. В сопровождении Ива Монтана, Ги Беара, Шарля Азнавура.. Короче, за рубежом мы общались с сыном на полную катушку, наверстывая упущенное в его детстве. На серьезные темы не говорили, всю дорогу ржали. Один раз нас даже чуть не выставили из автобуса в Неаполе. Проезжая мимо церкви, весь автобус стал креститься. Рядом с нами неистово целовались парень с девушкой. Барышня держала руку на яйцах товарища, но тоже повернулась к собору и стала креститься. Вторая ее рука осталась на месте. Димка не сдержался и стал заваливаться на меня от хохота.

Димка очень дорожил “Солдатским перекрестком”. Однажды в Иерусалим спустился с небес Питер Брук и устроил труппе Льва Додина мастер-класс на свежем воздухе под платаном; рассказывал, как жил со своими артистами в Индии, прежде чем приступить к постановке “Камасутры”. Про свое понимание сексов вообще, индийских в частности. Ничего подобного я не слышал, не читал. Затихли даже нереальные стрекозоподобные колибри, перестали месить зной молниеносными крылышками, рас-

селись на ветках вблизи головы Питера Брука и внимали мэтру. А у Димки эфир в Тель-Авиве. Я ляпнул: плюнь на эфир — свали на Брука. Поймут — простят: не повторяется такое никогда. Не послушался сынок глупого батю. Завыл, зарыдал и помчался на “Солдатский перекресток”. А бежать далече, ибо вокруг шабат, в такси не содют.

Однако недолго музыка играла — бросил он свое любимое радио. Подался в бизнес. Мне доходчиво пояснил: на радио славы много, денег мало.

— Пойми, чучело! — орал я. — Не твоего ума бизнес крутить: ты еврей-то недоделанный — всего на пять восьмых, а для бизнеса как минимум — восемь восьмых требуется! Прогоришь! Кроме того, бизнес по сути — гнусь: конкурент дуба дал — живому праздник! Хочешь так жить?!

Димка отмахивался от меня, как от недоумка:

— Отец, достал! Во-первых, бизнес космополитичен, а во-вторых, может быть и очень милосердным. И вообще, через год я подарю тебе “Мерседес”.

— Пулю себе в лобешник не подари! — вопил я, бросая телефонную трубку.

В ответ он прислал мне кассету с “Конкурсом красоты”, который организовал в Израиле. Мало того, сам бродил на подиуме. Красивый, элегантный, томный, в голубом пуловере. Я сна лишился: не иначе сынок в пидоры записался?

Дальше — круче. Он прибыл в Москву, приглашенный бриолином, как сицилийский мафиози, под ручку с дамой средних лет. У дамы был сиплый голос и настороженный взгляд. Вкушать в неизвестном доме она спервоначалу отказалась. В сумочке носила ножик, не исключено, что там был и пистолет. Выяснилось: дама — бизнес-вумен,

а Димка — ее подручный, секретарь и в скором будущем, вероятно, муж. Она торгует по миру пшеницей, металлом, породистыми щенками. Она мастер спорта по коням, хочет завести конюшню в России. Убитым голосом позвонила Ляля из Израиля: “Спаси нашего сына!..”

Дама рассказывала лихие истории из своей жизни и замечательно играла на гитаре. Я алчно слушал. Показала свой питомник под Москвой — образцовый порядок, все на зарубежный лад. Я пустил слезу зависти, глядя на племенных среднеазиатских овчаров. Через неделю на мой день рождения дама преподнесла мне месячного ангела с голубыми глазами, лапами толщиной в мою руку, обрезанными ушами и обрубленным хвостом. Ангел произвел фурор на застолье и сонно зевал, из пасти его пахло жареными семечками. Я взял его на руки — с внутренней стороны бедра на нежной розовой коже был татуирован элитный номер. Я потерял голову: такой щен — мечта всей жизни. Слава богу, жена была при мозгах и песика вернула дарительнице, несмотря на мои стоны. Что бы я делал при своей нережимной жизни с волкодавом-чудищем, в которое несомненно преобразовалось бы голубоглазое чудо? На прощание дитя грустно, забыв поднять ножку, написало на ковер.

После отъезда сладкой парочки в мою квартиру стали прорываться истошные вопли из Израиля: “Это квартира Каледина?! Верните деньги!..”

Слава богу, с бизнес-леди Димка расстался безболезненно, без ножа и яда, но идея быстрого обогащения его не отпускала. Подсел на его резоны и московский богатый дядюшка: подкинул племяннику денег. Димка открыл в Тель-Авиве зоомагазинчик: кошачьи-собачьи принад-



*Дмитрий Каледин — ведущий программы
“Солдатский перекресток” на израильском радио.*

лежности, миски-плошки, сухой корм, ошейники от блох. В подсобке знакомый ветеринар кастрировал агрессивных еврейских котов..

Отношения наши стали сникать. От чужих людей я узнал, что Димка женился, родил девочку. Вскоре привез мне на погляд Настеньку-Агнессу: слов нет — херувим белокурой, яичко глазированное, на щечке родинка, на другой ямочка. Внучка растрогала меня вконец. Ловила на даче комаров, приговаривая: “Вот летает комарок, его зовут муха”. На прощание помахала мне лапкой: “Шолом”.

А бизнес Димкин по-прежнему не задавался, слишком уж получался бескорыстный. Димка недоумевал, в чем причина, и для утешения родил мальчика. И снова — херувима, только темненького. Деторождение ему понравилось еще больше, он погрузился в книги по детской психологии, начал поговаривать о третьем, четвертом, пятом... Я негодовал, топал ногами: делом надо заниматься, а “чтоб иметь детей, кому ума не доставало”. Димка неожиданно прислушался. И... вдогонку за матерью и отчимом спешно сорвался из Израиля, улетел в Монреаль на второе ПМЖ. А его магазинчик ушел за копейку по весеннему бризу, по утренней росе.

— Отец! — восторженно орал мне Димка из Канады. — Здесь рай земной! Давай возьмем в кредит сто гектар, дом по-над озером, я буду щенков разводить! Питомник на двадцать собак и детей пяток, скажи плохо! Ты будешь приезжать, рыбу удить, здесь карпы пудовые!.. Лодку тебе с алым парусом справим...

Врать не стану, я завелся. Поднял информацию. Все реально, в Канаде это запросто и не очень накладно, но... какого-то звена явно не хватало. Какой-то малости, чепухи.

А-а, жену-то его, Наташеньку, спросить впопыхах на радостях забыли. Кстати, и познакомиться с ней не мешало бы. Димка привез жену на запоздалые смотрины. Красивая, спокойная, ровная, первое образование — психолог, сейчас поступила на курсы таможенников. По окончании работать будет в центре Монреаля на государственной службе. Жить на пленэре не рвется, щенками сыта по уши с израильских времен, деток порождать еще — не прочь, но не сразу, погода, сначала надо вработаться. Короче, уплыла моя лодка под алым парусом.

Димка работал в супермаркете, развозил коробки с харчами. Разумеется, радоваться тут было нечему. Сообразно недовольству в его письмах и разговоре появились покровительственные ноты, прям не Димка, а Дмитрий Сергеевич. Намекнул мне прозрачно, что я выстарился и поляну не секу, что больше я не начальник жизни, а начальник он и т. д.

Я не стал препираться, напомнил ему, что Иисус Иосифович в его с ним тридцать три года лавочку уже закрыл, а ты, мол, еще и не открывал, а прикрываться живым щитом из детей от жизни, как ты вознамерился, безнравственно. Вот если бы ты был девочкой, другой расклад.

— ... Заявляю тебе это со всем апломбом, как знаменитый писатель, — закончил я родительское наставление.

— Да никакой ты не знаменитый.

— А кто же я по-твоему?

— ... Пьяница, — не очень уверенно буркнул Димка.

Ну, дела-а!.. Наш ответ лорду Керзону. Однако обижаться я не стал, чтобы не зарулить в сторону от темы, талдычил свое. Не про меня, мол, сыне, базар, про тебя. Вижу, как у тебя формируется комплекс неудачника, как бы ты

окончательно не поссорился сам с собой, страшнее этого нет ничего. И предложил Димке во избежание глубокой ссоры необщение до весны, тайм-аут. Без мата предложил, уважительно, проще говоря, толерантно.

А сам тем часом, чтоб не бодаться с сыном через океан, намылился в Канаду своим глазом оценить обстановку. Но не тут-то было: консул объяснил мне доходчиво, что не педагогировать сына я вознамерился, а тормознуться в Канаде навечно, типа на доживку, хитрость мою он разгадал и, стало быть, визу мне не даст.

Пока я препирался с посольством, до меня дошел слух, что Димка пишет что-то крупногабаритное. А раз так, и Канада мне не очень нужна; я там был, пиво пил. Закончит Димка писанину — поговорим. Главное — не забыть наперед, что он из моего семечка. Кроха.

P.S. Заканчиваю я рассказ про своего сыночка многоточием. Идут годы. И вот однажды ко мне на Самотеку нагрянул здоровый дядя-купец со щедрыми дарами — Димка. Из Канады он временно перебрался в Испанию, чтобы сподручнее было знакомить подростков с европейской культурой. Дела у Димки пошли в гору, и его бизнес в Канаде уже могла крутиться без его непосредственного участия. А детям нужен багаж, которого Димке — перелетной птице — так не хватало в его кочевой жизни. Тем более что на подходе намечалась еще одна дочка — Ева-Марта. И я решил: хватит бодаться. От добра добра.. Ну, и так далее.

Маки на Монте-Кассино

Завела меня Ванесса Редгрейв. Решил я опробовать баню после реконструкции. На разжигу, как водится, старые журналы. Пожелтевшее интервью с Ванессой Редгрейв (намедни как раз по ТВ знаменитый “*Blow-up*” Антониони повторяли). Интересно рассказывает: про жизнь, про судьбу... И вдруг! — про евреев, пострадавших от фашизма: жертвы, мол, преувеличены. То есть Холокост в принципе-то был, актриса не возражает, но как бы не очень, не весьма. Чувствую: не въезжаю. Перечитал. Все правильно, она, Ванесса, и фотка ее. С какого ж, интересно, бодуна культурная дама нагородила за себя и за того парня? Ведь при мозгах и ведет себя достойно. В Чечню на старости лет поехала, не побоялась, фильм сделала. Стал справки про нее наводить. Оказывается, в молодые годы занесло ее по собственной воле в компартию, стало быть, барышня была нездорова, типа — в памроках. А в болести и не такое нагородить можно. Простим звезду. Другое я припомнил...

Давным-давно возил я маму в Германию на презентацию своей книги. Мама настаивала, чтобы я непременно купил себе белый плащ, двубортный, на синем подбое, оса-нистый. Помочь вызвался сын моей переводчицы. По дороге в магазин шустрый пацан сблатовал меня завернуть на пустырь, где он приторговывал подержанными автомобилями, предварительно выгнав, что в Москве я имею ветхие “Жигули”. Через час, забыв про плащ, я выехал на белоснежном дизельном “Мерседесе”.

— Купил? — счастливо улыбнулась мама, закручивая на ночь волосы на бигуди. — Белый, как я хотела? Покажи.

Я подозвал ее к окну, за которым стоял “мерс”.

— Вон он.

Утром мама в гневе сорвалась в Москву, я же по программе поплелся в Мюнхен.

На карте возле Мюнхена маленькими буквами значился “Дахау”. Неужели тот самый? Конечно, мне надо туда. Но от переживаний в связи с мамой я, видимо, не уследил за дорогой и заехал в какой-то центр религиозного туризма... Новодельные современные церквушки различного толка... Туристы не галдят, степенно передвигаются. Вместе с посетителями зашел в маленький костел: органная благодатная музыка, свечи. Потом в кирху, и там — музыка, свечи; в миниатюрной синагоге — та же программа. А в крохотной мечети даже не заставили разуваться. Что происходит? Сегодня не суббота, не воскресенье, может, праздник какой-нибудь всеобщий, типа экуменического?..

Подхожу к старшему в форме. *Wo ist Dachau?* Как в Дахау проехать?

Охранник удивился:



“Труд освобождает” — надпись на воротах Дахау.

— *Hier ist Dachau.*

Я опешил:

— Как Дахау?! А где же?.. Где дыба? Печь? Где все?! Где бараки?..

— Тсс... — Охранник приложил палец к губам. — *Nicht so laut.* Не шуми. — И тем же пальцем указал на расположенный неподалеку невысокий продолговатый домик из светлого калиброванного бревна. — *Das ist Barack.*

Барак и внутри был такой же опрятный, как снаружи. Чистые нары в два яруса, на манер детских, солнце гуляет внутри по светлому полу, пряный запах свежего дерева.

Смертью не пахло.

Оказывается, нацисты в конце войны лагерь разрушили, а после войны уже другие немцы его восстановили. Но в ином — приглаженном — виде, чтобы не вызывал излишних волнений души.

Мне повезло с женой. В Германии я выдаю ее за немку, в Скандинавии — за финку, в Израиле — за еврейку, в Польше она полька и, мало того, говорит по-польски. Все чистая правда, так вышло по родословной. А коли так, то летом я посадил ее в автомобиль и двинул в Польшу.

Почему именно в Польшу? Во-первых, в Польше жена не была тридцать лет. Во-вторых, Польша — мечта моего детства. На той заре я носил мешающие зрению дымчатые очки без диоптрий, как у Збигнева Цибульского в “Пепле и алмазе” Анджея Вайды. Без особой нужды поехал зайцем в одном вагоне с якобы любимой одноклассницей Милкой Люкимсон в Адлер, чтобы походить все на того же Цибульского, но уже в “Поезде” Ежи Кавалеровича. Кроме

того, я был толстый, но и Цибульский в последних фильмах был не заморыш, однако любим красивыми девушками, что давало и мне реальные шансы в дальнейшем.

С женой меня познакомил опять-таки Анджей Вайда. Виртуально. На дворе стоял вконец безнадежный 72-й, а в кинотеатре “Мир” шла ретроспектива фильмов Вайды. В последний день на позднем сеансе — “*Krajobraz po bitwie*” (“Пейзаж после битвы”). Зал битком. И вдруг объявляют: сеанс отменяется. Но случилось небывалое: из зала никто не ушел. Сидели три часа. И козлы сверху не выдержали характер, запужались — показали фильм ночью. Я там был. Через много лет выяснилось, что и жена была на том великом сидении.

Интерес к Польше разрастался. Как осталась жива, несмотря на разделы? Как, небольшая, смогла победить советскую Россию в 20-м, когда даже опытные организованные белые проиграли красным? Почему мировую войну Сталин с Гитлером начали именно в Польше? В школе этому не учили, а дома было не до Польши.

Дальше — больше: “Солидарность” под омофором Папы Римского вдребезги разнесла Берлинскую стену и прилегающий к ней коммунизм. Короче, если бы не Польша, меня бы не опубликовали. Я перед ней в долгу.

В Италии редактор моей книги оказался полонистом, а его красавица невеста — очень близкой знакомой Адама Михника, о котором я знал тогда мало, но от нее узнал больше: знаменитое трио — Адам Михник, Яцек Куронь и Кароль Модзелевский — вырабатывали идеологию “Солидарности”, ее интеллектуальное обоснование. В последний раз Михника посадили, буквально вырвав из объятий очаровательной итальянки.

Свой особый интерес в Польше был и у жены: она мечтала по старым фотографиям отыскать в Варшаве могилу прадеда. На обороте одной, где прадед-банкир снят с сигарой, кто-то из его внуков нацарапал карандашом “*birzi*” (буржуй).

Кроме того, я возмечтал занять избушку где-нибудь на Мазурах: с одной стороны — Европа, с другой — Москва под боком.

И, конечно, хотел увидеть своим глазом Освенцим. И глазами Ванессы.

В Польше я в общем-то не был. Если не считать спешный проезд сквозь нее на авантюрном “мерсе” десять лет назад. Кстати, как я его нелепо купил, так и загубил. В лютую новогоднюю ночь на даче забыл разбавить солярку в бензобаке керосином (на праздничном столе был другой керосин...). Неправильная солярка на морозе преобразовалась в парафин, парафин запалял двигатель. И на веревке “мерс” убыл из моей жизни к великой радости садовых товарищей.

По обеим сторонам дороги оголтело цвели маки. Телеги на шоссе исчезли. В ухоженных полях урчали трактора, за ними неспешно расхаживали аисты и птицы поменьше.

Польша была завалена клубникой. Цена трускавки в конце июня спустилась до десяти рублей. Так же изобильно и дешево обстояло и с прочими харчами. Женщины поголовно переоделись в унисекс и перестали краситься. Красивые девушки пропали. То ли, познав свою истинную цену, переехали на более выгодное местожительство, то ли перемещались исключительно в авто. Женщинам, оставшимся на виду, как и прежде, целовали руки.

Зато появилось много бомжей — пьяных, но чрезвычайно дружелюбных. Впрочем, благорасположены к русским и трезвые поляки, ибо подлянки от нас больше не ждут. Оно и понятно. Теперь мы всего лишь виноватые за грехи отцов туристы, к тому же — небогатые, богатые плывут в другие края. Более того, нас жалеют: у них к услугам весь Евросоюз, а у нас — кука с макой.

Молодняк Польши повсеместно — в поездах, автобусах, на травке — “тычет в книжку пальчик” — учится: образованных ждет все тот же Евросоюз, причем, и в самой Польше работы хватит, несмотря на безработицу.

В Варшаве мы остановились у родни. Мурка — биолог, ей восемьдесят, но, учитывая мой интерес бывшего могильщика, в первый же день повезла нас на три кладбища: простое, военное и еврейское. На простом у нее муж и мать. На военном — шурин и кузина, жертвы Варшавского восстания. Восставшим отвели большой участок, там они и лежат под простыми березовыми крестами. В большинстве — молодые, начиная с шестнадцати.

Лежат и совсем крохи по одиннадцать, двенадцать лет — санитарки, связистки: Марыся, Крыська, Уля.. Лежат дисциплинированно, по отрядам. У отрядов смешные клички: “Зоська”, “Парасолька” (зонтик).. Даже у начальства клички несерьезные: Медвежонок (генерал Окулицкий), Лес (генерал Коморовский), Стрела (генерал Ровецкий)..

Очень надеялись дети на помощь взрослых, наблюдавших за ними в августе 44-го с другого берега Вислы — пологого, не забранного камнем, — удобного для переправы. Восемь дней отчаянно воевала детвора под командованием генерала Берлинга. Но помочь им приплыл ночью, нарушая приказ, лишь польский взвод, входящий в армию освобо-

дителей. Потом восставших немцы зачистили. Недобитые уходили вонючим “Каналом” Анджея Вайды. Советская “помощь” быльем не поросла, о ней помнят намертво.

На еврейском кладбище у Мурки бабушка, которую внучка привезла в рюкзаке из Москвы. Бабушка до войны подалась из Польши в Россию вслед за зятем, мечтавшим вместе с молодой женой строить социализм. Для начала в Москве построили Мурку. Отца Мурки моя жена отыскала по “Расстрельной книге” на Донском кладбище в небольшой клумбе под вывеской “Захоронение невосребованных прахов”. А по соседству в могильнике №2 — Лаврентий Палыч Берия с дружбанами: Меркуловым, Деканозовым, Гоглидзе, Мешиком, Влодзимирским и Кобуловым. Когда хоронили этих в декабре 53-го, на ворота вывешивали объявление “Кладбище закрыто на спецобслуживание”.

Мать Мурки отсидела положенное и в 45-м с помощью Ванды Василевской чудом вернулась в Польшу. Мурка окончила биофак МГУ, сожгла отболевшую бабушку и в 47-м, забрав урну, сменила родину на Родину. Когда умер Сталин, Мурка тем не менее плакала. Из песни слов не выкинешь.

В Польше я собирал сплетни: как живете, как животики, не болит ли голова? Голова у поляков от нас не болит. Не бояться даже грядущего наказания газом — за сочувствие Украине. И Европе особо не завидуют: ну, даст Россия послушным странам газ по морю, а Европе все равно нужно в десять раз больше. Да и затея начетистая. Вон, в Турцию газ по дну провели — окупается плохо. А богатые страны тем часом вовсю водородный двигатель разрабатывают. Процесс пошел: Норвегия уже городские автобусы на во-

дородной тяге гоняет. То-то смеху будет и у нас, и у арабов, когда мир на водород пересядет.

Главный же мой польский интерес — глубинка: простой народ, сельская жизнь.

В Польше два миллиона фермеров. Небогатых половина. Среди небогатых тридцать процентов бедных — бывших колхозников, обанкротившихся после освобождения. Богатые богаты по общеевропейскому ранжиру — мне они неинтересны, я их видел. До бедных я, к сожалению, не добрался. А вот у польских фермеров-средняков поел-попил. Средняк — это десяток гектаров, скотина, трактор, автомобиль, каменный домик и думка-мечта прикупить на будущий год еще землицы.

Средняка победнее я отыскал в небольшом городке Ловиче в праздник Тела Господня. В этот день Крестный ход идет по всей стране, всюду выставляют алтари, несут хоругви. Лович от мала до велика, празднично одетый, шел поклониться Спасителю. Ничего подобного в своей жизни я не видел. Мы с женой пробирались по улице против шерсти и смотрели в лицо Польше. Это была не толпа. Это была нация. Победить которую нереально. И как звучало слово Папы во время “Солидарности”, было ясно без слов.

Праздник мы закончили за столом пана Рышека. Он снял парадный костюм, белую рубашку, переделся и сразу стал обычным, не шибко грамотным крестьянином с незагорелой лысиной, весьма беззубым. Дед был прост до такой степени, что порой спал в том же сарае, где резал свиней.

На деликатный зачин не было ни сил, ни времени.
— Рышек, ты на черный день бабки копишь?

Дед слушал невнимательно, он сосредоточенно разливал алкоголь собственной выработки, без труда обхватив пузатую бутылку корявой задубелой клешней.

Жена перевела. Дед удивился.

— Для чэго пенэнзы хóвачь?

— Ну там... дом сгорит, неурожай, болезнь?..

Дед засомневался, что я известный писатель: вопрос был явно не по разуму. Но ответил:

— Убеспечэне мам.

— А рэкет наедет — чем откупишься?

— Цо то значи? — не понял дед.

— Счастливый ты, Рышек, — завистливо вздохнул я. — Ну, а если мы тебе зимой нефть-газ отключим?

Жена взмолилась: не могу больше переводить, отпусти душу на покаяние.

Рышек повел меня в подвал одного, без толмача, показал отопительный прибор с компьютером, работающий на бензине, солярке, угле, вплоть до опилок и прессованной соломы.

— А машину тоже соломой заправлять будешь?

— По цо мне слома? Спиритус. Спиритус з кукурузы.

— А почему ты крест не носишь?

— Не тшеба. — Он постучал себя по сердцу. — Ту Бога мам.

Но я достал-таки его:

— А за кого ты, дедушка, голосовал, позволь спросить?..

Тут дед смутился, даже покраснел сквозь загар.

— За... Качиньского.

Польские близнецы Качиньские: один — президент, второй — премьер-министр. Братья клеймят либералов, не любят богатых, тоскуют по цензуре. Душат “Газету Вы-



*Польский актер Збигнев Цыбульский —
мой любимец, на которого
я всегда хотел быть похожим.*

борчу”, главный орган польской перестройки, вместе с ее редактором Адамом Михником. Обещают повысить национальное, увеличить экономическое. Все неопределенно. Все знакомо. И что интересно: народ, постарше и поплоче, на посулы покупается. И это знакомо. Жизнь в Польше вырывает, но медленно. Ждать надо. Ждать народ не хочет. И вот тут-то... Неподалеку от Варшавы есть очаровательный старинный городок Торунь. Там радиостанция “Мария”, где ведет передачи отец Тадеуш Рыдзык. Слушателей у него миллион, из них один процент — молодых, остальные — старше шестидесяти лет. До поры до времени “Радио Мария” пело в унисон Ватикану: свобода, братство, демократия. Но Папа слабел, и со временем “Мария” сменила тон: антисемитизм, ксенофобия, нетерпимость... Папа “Марию” не жаловал. А вот деда Рышека радиоксендзы охмурили. В итоге осенью 2005-го Рышек выбрал себе президента.

Я завел было культпросвет: ведь тебе, Рышек, свободу, землю, свиней дала “Солидарность”, а не братья Качиньские. Дед от такой неправды замотал башкой: свиньи были до “Солидарности”. Пускай, согласился я и продолжил политграмоту.

Папа приехал в Польшу в 79-м. Валенса пожаловался Папе, что коммуняки вконец оборзели, и докеры намерены прекратить беспредел. Папа забеспокоился: как бы не получился 70-й год, когда на Гданьском мосту расстреляли бастующих. Но Валенса с ребятами были непреклонны — Папа согласился похлопотать и пригрозил Брежневу поставить под ружье весь христианский мир, если генсек сунется оказать очередную братскую помощь (в Гродно уже начали стягиваться войска). И Брежнев струхнул. Папа, правда, потом получил за это пулю.

Для наглядности я припелел свой стройбат. Наша рота тогда вышла ночью полуголая на плац биться с другой ротой — блатной, несправедливой. Верховодил нами здоровенный кузнец Сашка Куник. Сашка с лопатой в руках истошно орал: “Не бзди, пацаны!..” Но мы испугались, побежали... А вот “Солидарность” под воительством Папы не испугалась. И победила.. И Папа ваш тоже был кузнец.. — Пан Войтыла не был ковалем, — буркнул Рышек. — Он в каменоломне працювал.

— Тем более! — сказал я. — Он сначала камень ломал, а потом на тех камнях Польшу поднял..

Про “Солидарность” Рышек за четверть века подзабыл, а к Леху Валенсе имел, как и большинство поляков, обыденные счёты. Больше я деда не мучил, его теребила внучка, тянула к жеребенку, родившемуся накануне.

Из зарослей маков возле забора истошно прокричал одурманенный дикий фазан, по его команде в голубое небо с треском поднялась белоснежная стая породистых голубей, до того беззаботно разгуливающая по двору. Аудиенция закончилась.

Могилу прадеда на Повонзском кладбище жена не отыскала. Я повел ее утешать в кафе... Мурка вот привезла бабушку в Польшу, а наша бабушка так и не вернулась на родину, кручинилась жена.. Я напомнил ей, что ее бабушке Хелене несказанно повезло. Она осталась жива и даже не сидела. Хотя была не только женой расстрелянного мужа, не только невесткой его расстрелянных братьев. Ее зятем был сам Карл Радек. Кроме того, в родне числился и Мартов Юлий. Тот самый. И не вернулась она в Польшу

по своей воле — до 62-го года ждала пропавшего без вести сына. В последнем письме с фронта он сообщил ей, что “идет вечером подбивать у немцев танки”, и просил прислать “варешки здвумя пальцами”. Бабушка рукавицы сыну выслала и сделала выговор “за русский язык — в письме много ошибок”. Фотография Тадика так и стояла на ее письменном столе рядом с Лениным и репродукцией Моны Лизы.

Потом мы гуляли по Варшаве. Из открытого окна на втором этаже за нами тихо наблюдала пара: к седой щеке пожилого пана плотно прижималась узкая голова таксы. Пан помахал нам рукой, тряхнула ушами и такса.

Дома мы помянули родню. Мурка уточнила дальнейший маршрут: Гданьск, Познань, Краков, Закопане... (“Кстати, Сережа, не забудь: в Сопоте, под Гданьском, живет Валенса”.)

В Гданьск на встречу с нами прилетел из Стокгольма мой друган Сереня Карлов. Мы родились в одной коммуналке с разницей в полгода. Сереня был рыжий, уроков не учил, целыми днями гонял во дворе в футбол, но всегда был отличником. Меня в футбол не брали за толстоту, лишь изредка разрешали стоять на воротах. Потом футбол вытеснила “поэзия”: Щипачев, Асадов, Игорь Кобзев... На нас неотвратимо наваливалась половозрелость. Мы читали стихи о любви и тихо всхлипывали. Потом разбредлись, снова нашлись. За это время Серега успел с отличием кончить педвуз, отработать пять лет в Якутии учителем русского, литературы, математики, географии, труда и физкультуры. Вернувшись в Москву, работал на радио в литературной редакции, а вечерами мы отдыхали... Сереня играл на гитаре, каждый “отдых” непременно допол-

няя новой песней. Интересное кино: денег не было, свободы не было, счастье было.

Потом Сереня уехал в Швецию, где вещает на радио по сей день.

Сереня приехал веселый, седатый, румяный, гладкий, чемодан на колесиках — интурист. Но почему-то без гитары, оговоренной загодя. В гостинице — Доме актера — гитара отыскалась. Но Сереня гитару, видимо, подзабыл и пел, спотыкаясь... А мы забыли, что хотели побывать в Гданьске на знаменитом мосту, известном опять же по фильму Вайды “Человек из мрамора”, где в 70-м режим стрелял в народ, и наутро поехали в Сопот в надежде встретить Леха Валенсу.

Валенсу мы не нашли. Оказавшись на улице героев Монте-Кассино, мы конечно же спустились в ресторан, где безуспешно гоняли рюмки с водкой по стойке бара, как это делал Мачек — Цибульский в “Пепле и алмазе”, поджигая их. А Сереня также безуспешно старался вспомнить песню “Маки на Монте-Кассино”. Молодой бармен в ситуацию не врубался и попросил прекратить безобразие. Жена вступилась за нас и спросила: где живет Валенса? Бармен удивился: разве он не в Париже?

На память я купил себе перстенок с черным агатом, мне вспомнилось, что Цибульский тоже носил колечко. На обратном пути камешек выпал, оказавшись пластмассовым. В Варшаве ювелир камушек вставил на место и попросил в Москве не разоблачать польскую ювелирию.

В Освенцим я поехал один. Жена там была в молодости и второй раз ехать отказалась.

На воротах “*Arbeit macht frei*”. В переводе: труд освобождает. Действительно, освобождает. От жизни.

Лагерь “мученичества” был основан в 1940 году для польских политзаключенных. Со временем в ход пошла вся Европа, в основном евреи. За пять лет истребили полтора миллиона. Узника встречали с музыкой, отбирали скарб, стригли, раздевали, снимали очки, протезы, загоняли “помыться”, изымали дорогие зубы — и в печь. Пепел — на поля. Безотходное производство. Между началом и концом, если повезет, тяжкая непродолжительная работа.

Страшен Освенцим. Но я вспомнил другой музей под открытым небом...

Давно, когда меня не печатали, “Новый мир” для поддержки предложил командировку на выбор. Я хотел на Сахалин, но журналист Александр Нежный отсоветовал: только Уренгой. Но не в “голубом золоте” дело, уточнил он. От Надыма до Уренгоя Нежный наказал мне ехать 250 км на трубовозе. Вдоль Мертвой дороги.

Знаменитый очерк Александра Побожего “Мертвая дорога” в “Новом мире” я читал и послушно полетел в Надым.

В Уренгой добирался всю ночь по зимнику. На ухабах фары трубовоза выхватывали очертания приземистых запущенных поселков вдоль дороги; поселки цеплялись один за другой. Я заснул. Только утром я понял, почему мне было велено не лететь, а именно ехать. Зимник шел вдоль Полярного круга, почти касаясь той самой легендарной Мертвой дороги. Прокладывали ее зэки. В 49-м Сталин сдуру задумал связать Салехард с Игаркой железной дорогой. Расстояние как от Москвы до Бреста. Концы дороги сросить не успели — Сталин умер. Дорогу бросили, ни разу по ней не проехав. В тундру уйти по сию пору она не может, подпираемая вечной мерзлотой, укреплен-



Та же надпись на воротах Освенцима.

ной арматурой из человеческих скелетов. Полусгнившие ребра шпал так и лежат поверху. Сопровождающие дорогу поселки-зоны, растянувшиеся на сотни километров, — лагерь голимой смерти, ибо минус шестьдесят.

Соревнование по мученичеству неуместно, но все-таки?.. В Освенциме за пять лет уничтожили полтора миллиона, чужих. А сколько за те же пять угробили, вернее урыли, здесь? И своих?.. Может быть, Ванессу Редгрейв, перед тем как она сделала свой странный вывод относительно душегубства, занесло сначала на Мертвую дорогу, а потом в благодетную пастораль Дахау?.. Тогда действительно Холокост может показаться не запредельным. Сравнить злодеев, конечно, нельзя: Сталин и Гитлер — оба хуже. На жутком пространстве от Чукотки до Испании, где был сплошной лагерь мученичества, уже не разобрать, где, когда, кому было хуже. Не будем беспокоить мертвых. Тем более что у Бога мертвых нет.

Напоследок в Варшаве я встретился с Адамом Михником.

На встречу с ним я взял жену, не учтенную протоколом.

Огромная квартира Михника была завалена книгами; казалось, они даже на потолке, во всяком случае, так отражались в стеклянном круглом столе посредине гостиной. И фоты: с Папой, Валенсой, Вайдой..

Предполагаемого умного разговора, слава богу, не возникло с самого начала. Михник спросил, какую кухню предпочитает жена.

Она замялась.

— Да она, понимаешь, вегетарианка, — виновато промямлил я. — Ей какой-нибудь ботвы...

В переполненном ресторане Михнику сразу накрыли стол, и на нас по благу смотрели с почтением. Михник заказал мне качку, то бишь утицу. Я ожидал крылышко, в лучшем случае ножку и лихорадочно старался не забыть вопросы. Принесли сначала борщ с пампушками, затем утю. Качка оказалась мастодонтом на полстола. С политикой было окончательно завязано. Выяснилось, что отец Михника знал деда моей жены. Она напомнила Адаму, что мать Мурки, стоматолог, чинила ему, пятнадцатилетнему, зуб и, придя домой, сообщила семье, что мальчик, который был у нее сегодня на приеме, необыкновенный и обязательно прославится. Михнику сообщение понравилось, он поскреб затылок:

— Мурка?.. Мурка?.. Мать ее не Мариной звали? Марина Прапорова!

Память у Михника оказалась феноменальной. Вокруг Муркиной матери и деда моей жены он еще навспоминал тьму людей, их биографии, массу необязательных очень интересных подробностей. Исполдволь вплелась-таки неизбежная, пропади она пропадом, политика и всякое разное. Михник — историк по образованию. Кроме того, он лично и творил историю Польши последнего уникального периода. Того самого, который подтолкнул мое поколение к жизни. Это он, Адам Михник со товарищи, невосстановимо порвал пасть мировому коммунизму. Я всячески провоцировал его сделать политический вывод, дать решительную оценку польской ситуации, короче, разводил на кухонный московский базл. Михник только хмыкал, на подначку не покупался. Даже очевидные выгодные для себя по сиюминутному сюжету выводы не делал, если не был уверен в их стопроцентности. Вот уж действи-

тельно: Прасковья Адаму тетка, но правда — мать. Ради красного словца он жалеет не только мать и отца, но даже и очевидных врагов. Историк, ничего не попишешь.

К шестидесяти годам Михник привык к своему изъяду и заикался громко, не стесняясь. Ему явно было не очень интересно с нами, он часто отвлекался на треп с официантом. А больше всего, наверное, Михнику сейчас хотелось домой. Но я не мог упустить момент.

— А ведь это, Адам, не ты меня, а я тебя поить должен. И гусями кормить, — сказал я в конце застолья.

— Для чэго? — не въехал сразу Михник.

— Ты меня опубликовал.

Я не стал разжевывать, было интересно, поймет ли сам.

— Хм?.. — Михник почесал репу. — Не розумем... А-а... Понял. Так-так.

— Скажи мне, пожалуйста, как же все-таки у вас вся эта муть вышла, с Качиньскими? Все-таки у вас и “Солидарность” была, и — Папа?.. Близнецы-то почему всплыли?

Адам устало пожал плечами:

— К-караван устал.

— Караул, — поправил его я.

Михник невесело усмехнулся:

И — к-караул. И — к-караван.

— И надолго перекур? — спросил я под самую завязку.

— Лет пять... Не больше.

Три двадцать в кассу, господа!

Мой друг и учитель жизни Леонид Михайлович Гуревич в 66-м наткнулся в “Новом мире” на стихи Татьяны Бек, восхитился, написал ей письмо, получил ответ: “...Вы думаете, мне многие пишут. В основном — это солдаты, которые хотят познакомиться с девушкой, или сумасшедшие, которые пишут, потому что они сумасшедшие. Вы — почти единственный “несолдат” и “несумасшедший”. Все мои стихи мне не нравятся, одни больше, другие меньше..

А мне не пишется, не пишется,
Как ни стараться, как ни пыжиться,
Как пот со лба ни утирать..
Орехов нет в моем орешнике,
Весь день молчат мои скворешники,
Белым-бела моя тетрадь”.

— Ишь ты! Не пишется ей! В шестнадцать-то лет! Что ж дальше-то будет?.. — Гуревич почесал лысину, крапленную

черными точками — результат некачественной покраски редких волос, и, неодобрительно взглянув на меня, добавил мечтательно: — Вот бы с кем тебе, дураку, познакомиться.

Наставника я послушаться не мог и через десять лет познакомился с Таней. В то время я числился в Литинституте, валял дурака, для отмазки стерег палаты боярина Ртищева по-над Москвой-рекой на Ленинских горах — НИИ метрологии. Благодатное время! Лето. “Воробьевы горы, грудь под рукоймник!..” Таня приплывала ко мне на последнем трамвайчике, до темноты мы вели себя хорошо, потом разводили неприметный костерок, раскидывали скатерть-самобранку... Таня читала стихи, я балдел, давили песняка на два голоса, купались.. Все на свете было прекрасно, смешно и неопасно, застой не мешал. Однажды на огонек наехала милиция и в мегафон приказала выйти из воды. Я подал Тане руку, но вовремя спохватился:

— Отвернитесь, пожалуйста, товарищи милиционеры..

— Та-ак.. Костер, алкоголь, обнажения.. — устало сказал пожилой мент. — В отделение надо.

— Тем более — акты.. — вякнул второй, прыщавый подпасок.

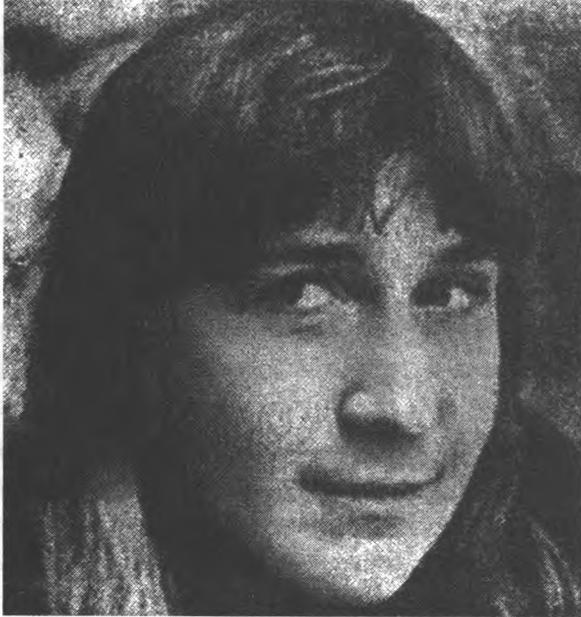
— Сексов не было, — твердо сказал я.

Таня достала членский билет Союза писателей СССР, красный, с гербом.

— По-эт, — прочел старший по складам, высвечивая содержимое билета фонариком.

— Подтверди, — шепнул я.

Таня всегда читала легко, без уговоров, свежим девчачьим голосом. Вот и сейчас, выжимая мокрые волосы, она громко и звонко запустила стихи по спокойной реке на ту сторону, где корячился низкорослый стадион, похожий на черепаху:



Таня Бек.

Пожелтел и насупился мир.
 У деревьев осенняя стать.
 Юность я износила до дыр,
 Но привыкла — и жалко снимать.

Я потуже платок завяжу,
 Оглянусь и подумаю,
 что
 Хоть немного еще похожу
 В этом стареньком тесном пальто.

— Зачем вы так? — смутился пожилой мент. — Вы ж еще молодая, в самом, можно сказать, прыску.

И власть отступилась, даже не попросив денег.

Учился я на заочном. Сложные предметы за меня сдавал мой товарищ Славка Данов, профессорский сын, тоже с бородой, правда, рыжей. Перед сдачей очередного экзамена мы переклеивали фото в зачетке. Смысла в учебе не было — решил бросить. Мама пришла в ярость: “За больным ходить буду, за слабоумным, а с малохолным, извини, общаться не могу”. Главный авторитет Гуревич заявил, что я слабак, стало быть, трус и ему жалко пятнадцати лет, которые извел на меня.

Мне хотелось похвалиться Таней — я повез ее к Агнессе Львовне Элconiной, бывшей теще. Привел до кучи и Гуревича. Как закоперщика. Дверь была не заперта, только звякнул колокольчик. Агнесса лежала на тахте в китайском шелковом халате, обливная, загорелая — красавица. Ей нездоровилось.

— Дверку всегда не замыкаем? — поинтересовался Гуревич.

— Да кому я нужна, больная.
Потом Таня читала:

И шли и пели, и топили печь,
И кровь пускали, и детей растили,
И засоряли сорняками речь,
И ставили табличку на могиле,
.....

И падали, и знали наперед,
Переполняясь ужасом и светом,
Что если кто устанет и умрет,
То шествие не кончится на этом.

Агнесса одобрительно коснулась моей ноги пушистым меховым тапком и украдкой показала большой палец. Леонид Михайлович самодовольно сопел. Я глядел на Таню влюбленными глазами Гуревича.

А она расдухарилась, читала еще и еще, потом устала.

— Фу-у... — И притворно смахнула пот со лба. — Три двадцать в кассу, господа!

— Прекр-расно! — Агнесса захлопала и всучила Тане голубое с кружевом постельное белье.

Когда-то на картавый голос Агнессы я замороженно повелся, как на дудочку крысолова, и каждый раз просил ее произнести шершавое слово “рефрижератор”. Попросил и теперь.

Потом мы втроем — я, Гуревич, Таня — шли к метро.

— Женись, дурак, — шепнул мне Гуревич.

Эх, была не была! Я предложил Тане руку. Таня ее приняла.

И поехал прощаться с Леной.

Год назад я отловил ее в метро, очаровавшись беззаботной улыбкой и классной фигурой, которую не смогла скрыть чудовищная выношенная куртка злого фиолетового цвета. Она работала в детском саду воспитательницей, недавно развелась с мужем, сына определила к маме и спокойно жила, не обращая внимания на финансовые трудности. За вторую комнату муж получил пай, комната пустовала. В правлении ЖСК Лене сказали, что присоединить вторую комнату нельзя, ибо метров у нее с сыном достаточно и в одной комнате. А на освободившуюся комнату выписан ордер, ждите подселенку. Вскоре та объявилась, звонила, стучала, но Лена под моим давлением ее не впускала.

Ночью дверь взломали, нас с Леной разъяли и меня, пьяного и голого, заломив руки, выставили на лестницу, туда же кинули и одежонку. От страха я с трудом попадал в рукава и штанины.

Гости были вальяжные: в дубленках, дорогих шапках, мохеровых шарфах, с участковым лейтенантом. Подселенка занесла в свою комнату чемодан, дверь опечатали.

— Успокоился, дружок? — ласково спросил меня председатель правления ЖСК сытым голосом, не вынимая изо рта длинную черную сигарету. — Ты кто?

— Сторож я, студент заочный.

— Ну, и славно. Ступай, поспи. Или.. что-то жаждет сердце растревоженное?

— Нехорошее дело делаете.

— По-моему, грозит? — Председатель обернулся к участковому.

— Запомним эту ночь, друзья, — сказал я.

— Пшел вон! — рявкнул председатель.

Я пошел, проветрился, вернулся, притулил поруганную дверь, утешил Лену. Утром позвонил Гуревичу: как быть?

— Не кидай бабу. Помоги.

Лена оформила на меня доверенность. Я завел канцелярскую папку с тесемками, как у Остапа Бендера, написал на ней красным карандашом “СКЛОКА”. И — началось!..

Таня жила вместе с матерью, почтенной высокой старухой писательницей, в огромной квартире на Аэропорте. Однажды к маме пришел старичок — ухажер, мама громко, с надрывом выясняла с ним отношения: “Илья! Судьба ведет нас к разрыву! У вас нет снисхождения к моей беззащитности!..”

— Это шутя или всерьез? — спросил я Таню.

— Всерьез, — вздохнула Таня. — Всю жизнь сплошной водевиль.

Жить мы решили поврозь: она у себя на Аэропорте, я у себя в Бескудникове.

Гуревич был счастлив. Маме про очередную женитьбу я сказать побоялся, она узнала новость от Семена Израилевича Липкина на Ленинградском рынке в очереди за огурцами. Липкин уверил ее, что невестка достойная. Мама мэтра чтит и ко мне помягчала, тем более что я обещал сесть за диплом. А сам улетел на Сахалин строить мост. Диплом скроила Таня из своих рецензий, не пошедших в дело, и прислала письмо: “...Диплом ты написал, не скрою, вшивый. О, Сережа Каледин, Сахалин тебе вреден. Возвращайся навек. Ярославна. Т. Бек”.

А тем временем в деканат пришла “телега”.

15.10.78

*Декану заочного отделения
Литературного института.*

Правление ЖСК “Дельфин” убедительно просит руководство и парторганизацию Литературного института призвать к порядку студента-заочника Каледина С. Е., который на протяжении полугода занимается сутяжничеством и порочит выборные органы нашего ЖСК, в том числе коммунистов нашего дома.

Познакомившись с проживающей в доме ЖСК Тихомировой Е. М., Каледин взял у нее доверенность на представление ее интересов и вмешался в спор о присоединении ей второй комнаты. Используя влияние на Тихомирову, Каледин начал самоуправство: сорвал печать и вскрыл дверь. Правление ЖСК пробовало выяснить причины нездорового интереса Каледина в этом вопросе. Он уходил от ответов, давая основание думать, что в данном случае имеет место шантаж Тихомировой с его стороны, корыстные цели. Это подтверждается прямым мошенничеством: в ЖСК “Дельфин” явилась женщина, представившаяся корреспондентом “Известий”. Как выяснилось, это было подставное лицо.

Мы предполагаем, что Каледин занимается подпольной адвокатской деятельностью. В прокуратуру послано заявление о возбуждении уголовного дела против Каледина..

*Председатель правления
ЖСК “Дельфин”...*

Декан устало снял очки, протер стекла.



Агнесса Львовна Элконина — моя первая теща.

— Кто такая Тихомирова? Ты же вроде на Таньке Бек женился?

— Да... девка одна, обижают ее, комнату хотят отнять. — Для убедительности я достал пол-литровую банку сахалинской красной икры.

Декан потерябил донос.

— А с этим что делать?

— Шлите их на хер. Я заочник, сторож беспартийный — что с меня взять.

— И то верно, — кивнул декан и надел очки. — А диплом у тебя сла-абенький.

Мне было не до диплома. В жилищной битве я изменил тактику: воевал не со всем правлением ЖСК, а только с председателем. Каждое утро, как на работу, я шел в присутствия: суд, прокуратуру, милицию, отдел учета и распределения жилплощади, отдел народного контроля, совет по товарищеским судам, Комитет советских женщин и т. д. и т. п. Конторам этим несть числа. С утра до вечера сидел в приемных и коридорах власти. Иные коридоры были мраморными, в коврах; другие отстойные, подвальные, с желтыми разводами на потолках. Я ждал приема и читал художественную литературу. Ни до, ни после я не читал так много. Если жалобы мои не брали, посылал их по почте с уведомлением о вручении. Под руководством Гуревича я наблатыкался строчить кляузы левой ногой с закрытыми глазами. Получал отказы, писал новые — на отказавших. Подруга моя, любезная КПСС! Не будь тебя, горел бы я синим пламенем. Жалобщиков ненавидели, но им отвечали по закону — в месячный срок. Я вошел в раж: когда чиновники видели меня — их начинало трясти. “СКЛОКА” пухла, но безрезультатно — государство было непробиваемым. Я стравливал конторы между собой

и на всех вместе писал жалобы в партию: сначала — районную, затем — городскую, и на последях — в ЦК. Взять с меня было нечего, выгнать — неоткуда. Я даже не предполагал, что так люблю сутяжничество. На первых порах меня утешали по телефону физрасправой, я пугался, врать не буду, но изображал бесстрашие и, как ворона мерзлый хрен, долбил председателю свое: “У тебя будет инфаркт, жена твоя выкинет, получишь по рогам партийным. Отдай Лене комнату”.

Взялись и за Лену. Осудили товарищеским судом, оштрафовали, подбирались к исключению из ЖСК. Лена сникла. Я великодушно предложил ей пожить у меня в Бескудникове. Спросил Таню, как она на это смотрит? Таня сказала: “Пожалуйста-пожалуйста”. Гуревич был недоволен: “Повело kota на блядки”.

Лена прижилась.

Без звонка приехала мама, познакомиться с новой невесткой. Я был в ванной.

— Здравствуйте, Таня, — сказала мама. — Я Тамара Георгиевна. Какая вы красивая...

— Я Лена.

— ?..

Я боязливо наблюдал за происходящим в щель.

С кухни, спотыкаясь, выбрел жеванный, с бодуна сосед Ленья в коротком замызганном халате, из-под которого торчали неприлично волосатые ноги.

— Приветствую, Тамара Георгиевна, — потянулся поцеловать у мамы руку.

— Это что за Бельмондо! — оторопела мама. — Сережа! Что происходит?!

Я вышел из ванной, попытался объяснить ситуацию. Мама не стала слушать.

— Пропади вы пропадом! — И хлопнула дверью.

— Какая мама у тебя наблюдательная, — восторженно поводя фактурной головой, пробормотал Ленька, ибо действительно был русским дубликатом Жан-Поля.

Мама была в гневе. Я стал подумывать, не бросить ли мне квартирную тяжбу, которой не видно конца-края.

— Не удумай, — сказал Гуревич. — Доделай дело. Бросишь — локти будешь кусать.

— Леонид Михайлович абсолютно прав, — не задумываясь, согласилась Агнесса. И добавила по-матерински: — Добей их, деточка.

Агнесса, любовь моя!.. В семидесятом я пришел из армии злой как сволочь. Встретил Лялю, одноклассницу, позвала в гости — у мамы юбилей, сорок пять.

— Это Сережка Каледин, — представила меня Ляля. — Он солдат.

— Прощай оружие, солдат! К столу! — воскликнула именинница, картавая красавица в открытом оранжевом платье. — Я Агнесса.

Боги мои!.. Куда я попал!.. Только спустя годы в Израиле я видел такое скопище евреев на малом пятаке, а тогда и понятия не имел, что так бывает.

— Что пьем? — пробасил огромный седовласый дед Моня, мощной ручищей, как у Луспекаева в “Белом солнце пустыни”, наливая мне водку.

Стол галдел. В редкие паузы бесчисленные разнокалиберные дети в очках забирались на стулья и читали под аплодисменты стихи.

— Моня, поиграй! — попросила Агнесса.

— Вас просят, — сказал я деду Моне, мне показалось, он не услышал.

Но гапером оказался другой Моня, в мундире капитана первого ранга. Он смел с крышки пианино малолетних очкариков и начал играть, но не еврейское, а Шопена.

— Ёська, ты что сидишь как сыч! — крикнула мужу Эра, сестра Агнессы. — Сказал бы что.

— Да не трожь ты его, — раздраженно махнула рукой Майя, вторая сестра Агнессы. — Опять какую-нибудь глупость ляпнет.

Агнесса неодобрительно посмотрела на Майю.

— Ёсик, поиграй с Монечкой. Изя, где его скрипка?

Изя, сын Ёси, принес скрипку. Два нижних пальца у Ёси были скрючены, он тронул нормальным указательным струны, крутанул колок, дунул на смычок, и они с Моней на пару ударили другую музыку, еврейскую, местечковую.

Ко мне подобралась напудренная бабка с настороженным лицом, пытливо уставилась.

— Евре-ей?

— Не совсем, — виновато пробормотал я.

— Ну, ладно. А кто родители?

— Роха! Не мучай мальчика! — крикнула Агнесса.

— Ну, ла-адно, пусть так. — Роха отодвинулась.

— Иуда! — вскричала Майя. — Ты где, Златоуст? Скажи про Агнеску. Только без мата, здесь дети. — И со значением кивнула на меня.

Иуда Осипович, белобрысый, похожий на русского деда, отстранился от носатого парубка, поднял рюмку.

— Иуда Осипович — профэ-эссор физики, — сказала Роха почтительно.

— Агнесса, дорогая, к сожалению, ничего не могу тебе пожелать. Ибо Он, — Иуда Осипович ткнул пальцем в потолок, — обеспечил тебя по полной программе при рождении. Всегда я завидовал Давиду...

— Агнесса — вдова, — пояснила Роха.

— ...и поражался, как быстро он из донжуана превратился в однолюба...

Роха, поморщившись, громко проворчала:

— Ох! Вэ из мир! Нет еврея, чтоб не изменял жене. Только один прячет концы в воду, а другой не знает, куда его деть.

— ...Завидую твоим кавалерам... А дефект у тебя все-таки есть: когда-нибудь ты умрешь. И это будет беда. Для всех. Но это будет нескоро. Ле хаим!

Я выбрался на балкон отдышаться, Ляля за мной.

— Перебор, — сказал я. — Откуда столько Монь, Ёсь, Изей? Плюс — Иуда.

Своего Гуревича я почему-то евреем тогда не считал.

Постепенно, с трудом я разобрался в этой мишпохе. Оказалось, что первый Моня — доктор биологии, культурист, легенда. Летел пассажиром на самолете, самолет потерял управление, упал, пробив лед, на дно. Моня чудом выбрался из самолета, выплыл и бежал десять километров до деревни по морозу. Второй Моня — моряк, плавает на Севере, у него есть наградной пистолет за храбрость. А дома живет полярная сова Сара с перебитым крылом, очень вздорная. Когда он задерживается, Сара всех кусает. Стеснительный Ёсь заведует лабораторией, рука у него перебита под Вязьмой. Иуда Осипович — член-корреспондент не по физике, а по кибернетике. Десять лет сидел. Из лагеря вернулся без ноги, на деревяшке, сейчас у него иностранный протез.

Я был ошеломлен сплоченностью своей будущей родни. Это был клан, род, племя. Здесь нельзя было пропасть: заболеть, обезденежить, оказаться безработным, не поступить в институт. Все они были братьями-сестрами, родными, двоюродными, троюродными; примыкающие к прямой родне мужа-жены автоматом включались в общую систему кровообращения единого могучего организма. Основной движущей силой клана была Агнесса. Она не выносила уныния. На улице переходила на солнечную сторону. К ней постоянно кадрились мужики, и она с радостью давала им телефон, меняя только одну цифру. Никогда не сплетничала и ругала меня за болтливость. А наручные часы заводила, только когда считала пульс. С высоты своей красивой, обеспеченной, обожаемой всеми жизни она не скользила взглядом поверх голов — нуждающийся всегда останавливал ее внимание. Влюбившись в Агнессу, я рикошетом полюбил и Лялю — мы поженились. Ляля была хорошая, слов нет, но... Яблонька от яблочка далеко растет — через пару лет развелись. Агнесса тогда взгрустнула, но отношения ко мне не изменила: сухое и мокрое у нее лежало в разных корзинах.

Она всю жизнь проработала в больнице старых большевиков терапевтом. Привычка с юности общаться с капризными, не всегда в разуме пенсионерами научила ее самособранности. Она умела так слушать, что любой балованный немтырь чувствовал себя Цицероном. Врачевала она не только пилюлями, но и голосом, плавными движениями спокойных рук и отвлекающим мягким разговором. Улетные безнадежные

старики под ее лечебной возвращались с того света и надолго задерживались на этом. Она придумала лечить их ветхие сосуды по своей эксклюзивной методе — ударными дозами мочегонного. Освобождала больные сосуды от лишней нагрузки. По канону избыток мочегонного вредно — с мочой выходит из организма и много полезного. Но ее больные безудержно мочились — и жили, забыв о смерти. А когда она начала внедрять свой метод, ее лишили диплома. Мочегонное тогда было на ртутной основе — стало быть, яд, а Агнесса — убийца в белом халате. Агнесса тогда опередила время: сейчас мочегонное входит в стандартную терапию гипертонии. Но она и тогда не очень испугалась, поступила на курсы водителей троллейбуса, чтоб ездить без проблем — по проводам. С курсов ее выгнали, но тут, слава богу, умер Сталин.

15.11.78.

*Гр-ну Каледину С. Е.,
доверенному лицу Тихомировой Е. М.*

На Ваше повторное заявление сообщаем, что лейтенант Ярмак К. Н. привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение ст. 338 ГК РСФСР.

Вопрос об освобождении занятой комнаты решается судом в частном порядке...

Стало быть, Лену обижать-пугать больше не будут. Я ненавязчиво предложил ей возвратиться домой, но она намек не услышала и сказала, что беременна. Я вознегодовал. Выяснилось, что беременность типа ложная, такая, мол, случается.

Погрызший по холку в сутяжничестве, я отделился от брака. Таня вела себя ровно, ничего не выясняла, но любовь увядала.

А у меня шла масть. Прокуратура Москвы, заваленная моими жалобами, чтобы счесать меня с шеи, назначила проверку деятельности ЖСК “Дельфин”.

Ура!

— Губищи не раскатывай, — гасил мое ликование Гуревич. — До “ура” еще дожить надо. Работай.

Я получил сочувственное письмо из Комитета советских женщин. Я хотел достучаться до самой космонавтки Терешковой, но она была очень высоко. В ее Комитете тетки, перепоясанные по чреслам вязаными платками от прострела, изнывали в лютой скуке. Я принес им торт и в лицах, на голоса изображал, как обижают советскую женщину Лену Тихомирову. Эх, не было тогда интернета, я бы Лигу Наций и Гаагский трибунал задействовал!

Снова позвонил председатель ЖСК, предложил однокомнатную квартиру. Чуток раньше, я бы со страху согласился, но теперь пёр рогом: отдай, гад, вторую комнату, хуже будет. Гад комнату не отдавал, но из правления ЖСК донесли, что у гада инфаркт.

На время болезни председателя я стал милосердным, как велела Агнесса, скинул газ и на даче сочинил повесть “Ку-ку”, в которой случил Гуревича с Агнессой. Агнессу я заразил раком, а Гуревича — тяжелой стенокардией, как полковника в романе Хемингуэя “За рекой в тени деревьев”. В повести Агнесса была врачом, Гуревич — конструктором парашютов, бывшим десантником — всё как в реальной жизни. Хоронить я их не стал, но песня влюбленных была спета. На последних страницах я пла-

кал и вытирал рукавом клавиши “Эрики”. Потом дал читать повесть обоим. Гуревич остался доволен. А Агнесса фыркала: “Ты рехнулся! Никогда я с твоим Гуревичем не легла бы! Он же урод!”

А масть перла: исполком райсовета отменил решение товарищеского суда ЖСК “Дельфин”, на котором гнобили Лену. Из правления ЖСК донесли, что председатель оправился от инфаркта. Но получил партийный выговор на работе.

Никогда в жизни я не чувствовал себя так благолепно, как в те приснопамятные времена. Правда, во сне стал дергаться.

“СКЛОКА” разбухла до неприличия, а комнату все не отдавали. Жилищный закон был размыт и не работал. Гуревич не вылезал из юридической библиотеки. Деньги у меня кончились. Я был связан бумажной волокитой по рукам-ногам, ни о каких шабашках не мог и помышлять. Чтобы у меня не закипели мозги, Агнесса стала брать меня с собой в короткие путешествия на поезде “Турист”, где прирабатывала врачом: Ереван, Баку, Тбилиси... Командовала поездом ее подруга красавица Валька, сводившая Агнессу с классными усатыми кавалерами в чинах, при деньгах и званиях. Джигиты поголовно влюблялись в Агнессу, протягивали ей выгодные свободные руки, но Агнесса упорно замуж не шла, дорожила свободой. Любила она только армянина Феликса, элегантного, спортивного ветерана Корейской войны, одинокого летчика, доктора экономических наук. Не дождав-



Леонид Михайлович Гуревич.

шись от Агнессы согласия на брак, Феликс завещал ей свой дом в Ереване и вскоре умер от корейских ран. На похоронах Агнесса отдала дом его родне, хотя те особо и не претендовали.

Новый год я встречал у Агнессы, без Тани. Праздник не задался: потерялся Ёся. Как только завел свое поздравление Брежнев, Эра, зубной врач-протезист, в очередной раз не выдержала:

— Да что ж ему зубы-то никак не сделают!..

Зазвонил телефон.

— Возьми трубку, — сказала мне Агнесса.

— Это сторож с дачи. Тут это... Эсси ваш удавился. Я в обход пошел — глянь: висит. Я с милиции звоню...

Я положил трубку.

— Ёся повесился.

Эра, теперь уже вдова, побелев, в ужасе закрыла рот ладонью.

— Так. Надо ехать, — сказала Агнесса и встала. Потом села. — Нет, не надо. Сережка пусть едет один. Возьми деньги... такси...

На даче с милиционером мы сняли Ёсю, в кармане у него нашлось пухлое письмо. На восьми страницах Ёся излагал претензии к родне: не любили, не уважали, смеялись... Корил всех, кроме Агнессы. Письмо я отдал Агнессе и увидел, как она плачет: "Что ты, Ёська, дурачок, натворил..." Я понял, что не все так просто в мишпохе, даже такой, казалось, несокрушимой.

А Гуревич тем часом надыбал нужное Постановление Пленума Верховного Суда СССР. И мы по свежему следу сварганили новый иск.

И — наконец...

4.2.79.

Советский районный народный суд г. Москвы.

Решение.

Признать недействительным ордер, выданный гр-ке...

Мне позвонили из ЖСК и вежливым нехорошим голосом сообщили, что за Тихомировой закрепляется вторая комната. И через паузу добавили: все-таки я плохой человек, так как моими стараниями у жены председателя случился выкидыш.

Дело было за малым: надо внести за комнату полторы тысячи, по тем деньгам — треть “Жигулей”. Этого я не учел. Деньги дала Агнесса.

Я перевез Лену на узаконенную жилплощадь, где она вскорости вышла замуж за моего товарища, который вернул мне деньги. Мои ночные подергивания прекратились.

С Таней мы развелись тихо-мирно. На прощание она посвятила мне стихи:

Я тебя люблю всего лишь,
Но не знаю ни на грош.
Что же ты меня неволишь
И за воротник ведешь?

Мой невероятный кореш!
Даже крепко полоня,
Не согнешь, не переборешь:
Мне
не выжить
без меня.

С Таней мы продолжали дружить. Когда уже в 90-е ее квартиру ограбили, она позвонила мне. Я отпаивал ее шампанским.

Она учила молодняк в Литинституте писать стихи, студенты ее обожали.

А потом исчезла из жизни Агнесса, затем Гуревич, потом Таня. Умирала Агнесса от рака целый год, немного, в отдельной палате своей больницы, ходили за ней по-королевски. Я принес ей “Смирненное кладбище”. Она прочла и, заложив исхудавшие, еще недавно великолепные руки за голову, загадочно улыбаясь, посмотрела в окно, потом на меня:

— Хм, кто бы мог подумать!.. Пиши, не ленись. — И грустно добавила: — Перессоритесь вы тут без меня..

На Гуревича Таня затаила обиду. Как-то нас с Леонидом Михайловичем занесло в ЦДЛ на собрание “Апреля”, новообразованной писательской корпорации. Перед Гуревичем сидела Таня. Гуревич нагнулся к ней: “Как вы, Танечка, приятно пополнили. Пряма мадам бель фам”.

— Иди ты в жопу! — не оборачиваясь, без паузы звонко сказала Таня.

Зал замер. Гуревич был в восторге.

Чехол для люля

— Вась, посмотри, какая женщина!..

Из песни

Глеба я встретил возле цирка. Тощий, беззубый, в седой длинной бороде, но в шляпе и штиблетах на босу ногу. Не виделись мы год. Или два.

— Э-это, мол... как раз сказать хотел временно... Переписал бы ты рассказ, а то от людей неудобно. Переправь поскромнее. — Глеб и к старости не научился говорить по-человечески: тянул слова, вставлял ненужные, при этом страдальчески морщился, будто заранее знал, что любое толковище бессмысленно — никто никого не слышит и понять не может.

Повесть “Шабашка Глеба Богдышева” (про него) я написал тридцать лет назад, и вот только сейчас он отозвался о ней более-менее вразумительно.

— Как живешь, Глебушка?

— Инсульт вылечил временно.

— Это как это?.. — опешил я.

— Босиком ходил на даче и молчал полгода. Прошло...
Подженился.

— На ком?

— Еврейка с гор, Хава Исаевна.

— Опять “красавица-богиня-ангел”? Где взял?

— Здесь на Цветном, я же дальше не хожу. Идет носатая такая, скрюченная, выглядит культурно. Хочешь, свадьбу отметим.

Первая жена Глеба была дочерью атомного академика. Глеб перед свадьбой кончил физтех, выиграл полуфинал Москвы по боксу и сделал открытие по физике твердого тела, которое похвалил молодой еще Андрей Дмитриевич Сахаров, приятель тестя. И оказался на распутье: наука, бокс, охота или возлюбленный с детства алкоголь, от которого Глеб отказался “временно”, пока учился и занимался спортом? Алкоголь победил. Глеб подарил открытие брату, тоже физику, по-тихому разошелся с женой и занялся, не отвлекаясь, любимым делом. От ранней смерти его спасало природное здоровье и полное отсутствие аппетита — в нем ничего не бродило, не портилось. Он даже и не потел, а потому не очень любил и мыться. На шашках гигиеничный Васька совестил его: “Ну, хотя бы гениталии помой”. Глеб лишь морщился: “Да какой там у русского человека гениталий... так, ерунда...”

Я пригласил бывшую команду: Зайонца, Ваську и Люлю. Зайонц пришел с букетом роз.

— А где невеста?

— Отсутствует временно. — Глеб пожал плечами. — Она мне не докладывает. Может, в горы подалась.



*“Времена года” — панно, оставленное на память
Люлей на моем дачном заборе.*

Вторая комната в его квартире на Цветном была завалена грубыми овечьими шкурами, упрямо стоявшими колом. На диване — гора мужских помазков.

— Побриться решил, Глебушка? — приподняв дымчатые очки на золотой цепочке, чтобы лучше разглядеть перемены, спросила Люля.

Глеб потерял длинную, как у старовера, бороду.

— Хава Исаевна бизнес хочет наладить.

Внимательный Зайонц, профессор-геофизик, бард, картавый эстет — наш бывший начальник по Кызылкумам — обнаружил у Глеба на виске свежий шрам. Достал пенсне.

— И-ирочка, — смущаясь, пояснил Глеб. — Огорчилась, что подженился... Убить намеревалась в пьяном виде временно, отверткой. В кость попала.

— Порву... — неожиданно высказалась элегантная Люля. — Ботва голомондая. Пардон.

Ирочка — вторая жена Глеба. Из легких Цветных девушек. Узнать я ее не успел — Глеб не знакомил, сказал только: “Зайди сам в булочную в Печатниковом и на кассе сразу увидишь ее злое лицо”.

— Акугатней надо, Глеб Федогович, — сказал Зайонц, пряча пенсне. — А вы, Василий Дмитриевич, пеггасно выглядите.

Вася Козырев в лаборатории Чермета нагревал образцы редких сплавов, которые затем рвал на бешеных машинах. Сейчас он принес Зайонцу пучок жаропрочных прутков для камина. Вася, не торопясь, расчесал недавно отпущенные бакенбарды, компенсирующие лысину, и за поздало прокомментировал Люлину реплику:

— Убьешь говно, а сядешь как за человека.

— Какие ты, Вася, бакен... бауэры себе завел, прямо Иван Александрович Гончаров, — отпихивая сомнительный разговор, сказала Люля.

Но Вася с темы не слезал:

— ...Ирка Жорику хромому давала, Исааку давала, Сюсе давала... И мне давала, если на то пошло. Я тебе, Глеб, не говорил — огорчать не хотел..

— Васи-илий!... — укоризненно протянула Люля. — Съ требьен!

Глеб поморщился.

— Да это когда было-то?.. Еще на старой рабо-оте... Это не считается. Я Ирочку люблю, красавица-богиня-ангел.

— А что ж тебя на евреек-то потянуло? — не унимался Вася, переключаясь на Хаву Исаевну. — Плохо кончится.

— Вась, не гони-и... — вскинулась Люля. — Я тоже жидовка наполовину.

— Ты у нас тихая славянка, — улыбнулся Зайонц, — а вот я действительно не Иванов.

— Ты, надеюсь, ее еще не прописал? — сквозь зубы процедил Вася.

— А как же! — шустро отозвался Глеб. — Ей жить-то негде, она на лавке спала — напротив Никулина Юрия Владимировича.

— Мда... — вздохнул Зайонц.

— Совсем дурак, — покачал головой Вася.

Глеб решил нас проводить. Сначала пошел просто — в рубашке. Вернулся. Надел пиджак и долго стоял перед вешалкой.

— Тяжело, Глебушка? — сочувственно спросила Люля. — Понимаю.

Глеб натянул телогрейку. Задумался и телогрейку заменил на плащ с ушанкой. Потом решительно надел пальто, шляпу, шарф и проводил нас от двери своей квартиры на первом этаже до выхода из подъезда — метров пять.

Я подвез Люлю до дома. По дороге продолжил воспитательную работу, которой безуспешно занимался лет сорок, пытаясь довести Люлю до совершенства. Сейчас критиковал за неверное воспитание дочери.

— Больше не звони, — сказала Люля. — Я тебя просила: хватит меня учить — не улучшай породу. Не слушал. Мы были с тобой Чук и Гек, а теперь ты будешь один Чук.

Давным-давно, в прошлом веке, Глеб запил. Наркологи тогда на дому не обслуживали. Я поехал к Люле в музей Чехова, где она работала экскурсоводом и мыла полы. По дороге зашел в магазин “Кабул” рядом с планетарием, купил ей подарок — коричневый мешок под названием “чехол для люля”. Что такое “люль”, продавец объяснить не мог.

Люля заканчивала экскурсию.

— Слушай, чего я сегодня ляпнула: “Антон Павлович Чехов родился в своем родном городе Таганроге...” Совсем заработалась...

Потом я излагал ситуацию, она же сосредоточенно стригла ногти в ящик письменного стола. Кто-то заглянул в комнату.

— Уборная — следующая дверь, — не поднимая глаз от ногтей, привычно отреагировала Люля. Потом задвинула ящик. — Поехали. — Надела темные очки, через плечо — объемную сумку с косметикой.

Я потербил Глеба: живой? Он открыл глаз, обнаружил молодую даму в сером пиджаке с желтыми квадратами.

— Ка-кая клет-чатая...

Люля завела реанимацию: чай, бульон, пилюли... Глеб начал оживать.

— Мне любой алкоголь нипочем, я его знаю в лицо, — заявила Люля. — Со мной Галя Фасонова в школе сидела. От нее утром всегда водкой пахло. Я ей говорю: нехорошо, Галя, водку пить перед уроками. Она обижалась: это не водка, — отвечает, — а календула, в аптеке продается без рецепта.

— Давай... вместе жить... временно... — пробормотал оживший Глеб.

Люля выпустила дым кольцами — меньшее через большее, стряхнула пепел, по-особому щелкнув ногтем по фильтру.

— Подумаю...

— Чертей видел, — сосредоточенно сообщил Глеб, — в том угле...

— Ну, это просто домашние животные, — по-матерински нежно промурлыкала Люля, разминая в стакане снотворное, — их белочка за ручку привела. Я вот вчера была в “Ромэне”, у них с цыганами совсем плохо, хоть сама на сцену выходи, — толстые, двигаются с трудом, петь совсем не могут.

Отец Люли и моя мать работали в издательстве “Худо-жественная литература”. Отец, сын врага, сидел, воевал, хромал с палкой, острил заикаясь, был очень образован. Дамы от него таяли. Но жизни боялся. А вот жена его, русская красавица, не боялась ничего. Такая же получилась и Люля. Материнскую красоту ей Бог недодал, компенси-

ровав фигурой, презрением к корысти, художественными талантами и феноменальной лживостью, которая была не столько враньем, сколько вдохновением. Если она приезжала на трамвае, уверяла, что на троллейбусе. “Зачем ты врешь всю дорогу?!” — бесновался я. Она лишь плечами пожимала: “Хочешь быть честным, ходи голым”. Могла спустя десять — пятнадцать лет продолжить прошлую версию с нужного места и никогда не сбивалась. Правдивых женщин презирала за неоригинальность, отказывая им в уме, ибо считала, что умных женщин не бывает: умная женщина — мужчина. Но из колоды ее подруг не вывалилась ни одна карта. За успешное окончание Литинститута премировала меня восточной красавицей с фиалковыми глазами, Зарой, похожей на персидскую миниатюру, — переводчицей с норвежского, с которой я по дури в скором времени поругался. Обезбавел и снова приполоз к Люле.

— Та-ак, понятно, — раздраженно сказала Люля, — шурик зачесался. Поехали.

На окраине Москвы нас уже ждали барышни. Одна тощая, будто изъеденная глистом, вторая — жирная, шершавая, Виолетта. Она сразу замкнула дверь на ключ и сунула его в карман. Обе-две положили на меня глаз и стали нагнетать алкоголь. Пошли танцы... Виолетта неуклонно влекла меня в другую комнату. Я намекнул, что пора бы домой, но по ее личику понял, что об этом не может быть и речи. Я глянул в окно: этаж второй, но высокий. Люля, угнездившись в кресле с ногами, с интересом наблюдала за происходящим. И тут заворочался ключ с той стороны. Пришел чей-то муж. Коротенький, тоже жирный, перехваченный офицерским ремнем, молдаван, с золотыми напыленными зубами, в крашеной кепке на глазах — Азазелло!

— Ро-омочка, — заверещала Виолетта, наливая супругу штрафную. — Это Сережа Каледин, Люлин товарищ, писатель...

Азazelло накатил стопарь с бугром.

— К Вилке, пидор, клеисся!.. Завалю!..

Экуменические боги!.. Царю небесный!.. Я еле выбрался. Из подъезда вслед за мной вышла довольная Люля.

— А теперь немедленно помирись с Зарой.. Идиот.

В Бога и чуда Люля не верила. Гадала на картах таро. Знала Москву лучше Гиляровского. По просьбе отца закончила областной пед, практически в него не заходя. Не прочла ни одной книжки, кроме моих по дружбе; может быть, еще — “Унесенные ветром”, потому что жила по Скарлетт: “Об этом я подумаю завтра”. По ее логике и образу мысли дважды два не всегда бывало четыре. Я никогда не видел ее настоящего лица — штукатурилась она даже на ночь. В детстве, помню, носила веснушки.

Ее мужей и кавалеров я не успевал отслеживать. Мужчины как класс ей нравились, но не очень: “Недоделанный все-таки субстрат. Всех гонор жрет. Чем больше денег — тем меньше чувство юмора”. Однако для каждого у нее находился индивидуальный подход. С сексом, правда, была напряженка: Люля эту утеху не жаловала. Но мужики от нее торчали. Разлюбив одного из них, самого-самого, она выбрала очень мудреный способ вернуть свои письма: долго навязывала ему ошибочный свой образ, пока тот не уверился, что Люля сволочь, и, стало быть, блистательные письма к нему писала не она, Люля, а другой человек.

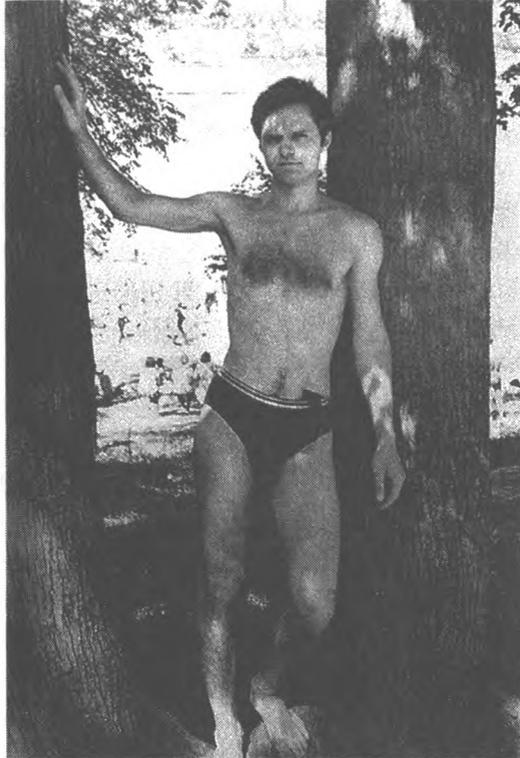
Детей она любила теоретически, но когда подошел предел — подобрала кондиционного отца и родила дочку, красавицу в бабушку. С животом она не светилась. Ей

не нравились беременные с эстетической стороны: “Ходят важные, раздутые, идейные — фу!” Опроставшись, достала из колоды “няню” — Митеньку. Митенька на два года поселился у нее в доме и поднял девочку. Нашей вольнице его присутствие не мешало. Иногда он, правда, возникал, строгий, на кухне: “Люля, твоя сраная собака вынимает у ребенка соску изо рта”. “Митенька, — вяло отмахивалась Люля, — оставь сраную собаку в покое. Или удави”.

Мы ели-пили, пели и плясали, шатались с гитарой по ночной Москве и Ленинграду. Я не вылезал от Люли, иногда мы спали на кухне валетом на раскладушке. В пять лет способностями дочка пошла в Люлю, научилась читать, стала наблюдательной: “Мама, а Сережа Каледин, пьяный, упал в уборной, как Мертвая Царевна, которая съела отравленное яблочко”. Родители Люлю обожали, выделяя ей значительный пансион, хотя отец и возмущался, что дочь беспардонно поит всю хиву.

Когда пришла пора ездить за рубеж, прямо из Шереметьева я мчался к Люле. Ночью из окна ее кухни на шестом этаже было видно сказочное пересечение Садового кольца с Бульварным — “Бульвар Капуцинов” Клода Моне, который я уже видел воочию. Я не слезал с подоконника. Кухня была намолена, сюда в былые времена к ее отцу прилетали заоблачные гости: Галич, Высоцкий, Ким. Сама же Люля напрямую дружила с уже пожилой, но еще красивой Ольгой Всеволодовной Ивинской — Ларой из “Доктора Живаго”.

На кухню бесшумно проникала грациозная серая кошечка, тоже Люля, гривуазно падала передо мной на спинку, раскидывая лапы попарно в разные стороны, как в лезгинке, и требовательно смотрела холодным взором: “Чего сидишь без толку? Почеши”.



Василий Козырев — товарищ по шабашкам.

Однажды я долго был в отлучке, а когда приехал, уткнулся в беду: мою сестру бросил муж. Никудышный, завалящий. Но сестра вместо радости лишилась сна, похудела на двадцать килограммов — кольца попадали с цыплячьих лапок, ходила с полотенцем от неукротимых слез и вся мелко тряслась. Я повел ее к психиатру. Он отвел меня в сторону: “Готовьтесь к худшему... к суициду. Срочно — мужика”.

Я к Люле. Она играла с Люлей: кидала ей желуды — кошка накрывала их лапкой на лету.

— Лев Яшин, — сказала Люля. — Но старая: хвост рыжеет, усы повисли. Скажи, Люля, зачем женщине усы?

Я пал на колени. Люля выпустила дым Люле в морду:

— Уйди, мешаешь... А Ленка твоя совсем овца малокольная?

— Не совсем.

— Да-а... К ветеринару ее надо, не к психиатру... Где я тебе мужика возьму?.. Все козлы. — Люля смолкла, но я услышал, как, глядя в окно на шестиэтажный тополь, она уже “листает” записную книжку, которой у нее сроду не было.

Она свела Ленку с козырным, но залежавшимся в колоде бубновым валетом и накрыла парочку тазом. Тому браку уже двадцать лет.

Но более всего Люля любила благотворить людям ненужным ей — это была особенность ее благодеяний. Разгадать ее я не мог, злился и называл “монстрой”. То, что она нетиповая, я понял в четырнадцать лет. Она мне рассказала, как поднимала петли на чулках. Я заслушался, просил — еще. Она вспомнила, как стояла во дворе в Орликовом переулке за солеными огурцами: бабки в очереди писали номера на ладони чернильным карандашом, номера под

дождем расплылись — бабки передрались.. Как рисовала на ногах чулочный шов, чтобы казаться взрослой.. Я все забывал, слушая ее байки, пропускал встречи с дворовыми хулиганами, портвейн и танцы в клубе “Красный Балтиец”.

Глеб с Люлей сомкнулись. Без секса.

— Кого ты больше любишь, меня или Глеба? — допытывался я, изображая ревность. — Ведь Глеб тебя не слышит. Я — единственный покупатель.

— Глеба, — не раздумывая, ответила Люля и пошевелила легкими прозрачными усиками, пробившимися сквозь толстый слой макияжа. — С тобой все ясно, а Глеб — загадка, нерешаемый кроссворд, отдельный человек.

— О чем вы с ним разговариваете?

— С кем, с Гле-ебом?.. — выпучилась Люля. — А зачем мне с ним разговаривать? Он и говорить-то толком не умеет. У него другие активы: он божий человек. И жизнью любит, как художник: на розу и на жабу смотрит одинаково — с умилением.

А жизнь Глеба на Цветном была совсем не умильтельна.

От отца ему досталась черная “Волга”. На нее положили глаз грузины с бульвара: продай. Глеб понял: машину заберут, денег не дадут. Но согласился. Приготовил даже закуску — обмыть сделку. И позвал Николая Степановича, школьного товарища. Пришли покупатели. Старшой достал для убедительности выпрыгивающий ножик, но, увидев хороший прием, подобрел. Глеб уселся на разложенный диван в не прибранную с утра постель. Нотариус разложил бумаги..

И тут из маминой из спальни выполз Николай Степанович, огромный, с челкой — ужасный Коля! С фотоаппаратом.

— Лежа-ать!..

Глеб с двух сторон от себя сдернул тряпье — с длинного винчестера, как у Зверобоя, и с короткоствольной пистолетной мелкашки. И пальнул для начала пару раз из мелкой поверх голов.

А Коленька-дружок, страшная легенда Цветного, фотографировал покупателей вспышкой и рычал:

— Стряпчего живьем!.. Нос резать!..

Глеб еще пульнул, склоняя покупателей к полу.

— Ползком!.. — орал Коля. — Ра-аком, я велел!..

Нотариуса он приподнял и отоварил в лоб, тот сложился пополам и прилег.

Потом друзья пошли пить пиво. Коля от любви всегда звал Глеба только по имени-отчеству, Глеб Федорович, и очень не любил, когда тому дерзят. И тут, на беду, Глебу за пивом сказали негрубую резкость, но матом. Коля пивной кружкой, не раздумывая, проломил грубияну голову. Того увезли в Склиф, из которого он вышел дураком, а Колю привычно — вместо долгой тюрьмы — в родную Кащенко.

Легкие девушки с Цветного всегда обращались к Глебу за помощью. Глеб карал обидчиков. Как-то пришла к нему за помощью вся в синяках, заплаканная, совсем уже обтерханная его бывшая Ирочка. Ее накануне сняли пьяные, не заплатили, побили и отобрали деньги. Квартиру она запомнила. И тут Глеб впервые решительно сказал: нет. Убить могу, если хочешь, а драться больше не буду: не по возрасту.

Я любил отбирать у Глеба вещи. На лесоповальной шабашке он таскал бревна в чистокровных американских джинсах “Ли”. Я не мог смотреть на это святотатство без

слез. Когда он загадил их смолой окончательно, я не выдержал: “Снимай!” Глеб занудил: “Пацаны корыстные, это ж спецодежда обычная.. Что вы от неё с ума посходили..” Но штаны снял. Я еле отстирал их в бензине. Потом изъял дореволюционный трехтомник Метерлинка. Опять Глеб заныл: “Какое кощу-унство.. Оставь хоть где про пчелок.. выдери страницы..” Курочить книгу я не стал — отксерил Глебу “Жизнь пчел”. А немецкую старинную глиняную пивную кружку с оловянной крышечкой он отдал мне сам. В этой кружке, стоявшей на пианино, он держал деньги после шабашек. Я негодовал, находя ее пустой: “Где деньги, Глеб?” — “Да взял кто-то из ребят.. Бери кружку, только не шуми”.

В 76-м застой достал, мы сели на мель. Васька устал от алиментов. Ездил он по пенсионному удостоверению своей покойной бабушки Акулины Филипповны, 1890-го г.р. Наконец его тормознули: “Чего вы нам суете! У вас же фамилие другое?” Васька стал сдавать кровь в нескольких местах. И Люля решила: “Все. Больше так жить нельзя. Под лежач камень хань не течет”. И вызвонила из Ленинграда Графа из той же запасной “влюбленной” колоды. Граф — кандидат биологии, опять-таки красавец и натурально — граф, “Стрелой” примчался в Москву, привез итальянский вермут, пел романсы и взял нас — Глеба, меня и Ваську — на шабашку в Норильск — менять порванные мерзлотой трубы. Нам с Глебом дал по тысяче, а Ваське полторы — за зверство в работе. Васька ухайдакивал всех, кто был с ним в сплотке. Практически не спал, ночью вешал над работой фонарь, загнать его в стойло было невозможно.

На следующий год Люля свела нас с Зайонцем, и под его руководством мы три года поворачивали Обь, Лену и Енисей задом наперед в Среднюю Азию, щупая медными штырями русло будущего канала в Кызылкумах возле Сырдарьи — вертикальное электрозондирование.

По шабашкам мы с Васькой мотались за деньгой, а Глеб — за голимым интересом, дензнаки его мало занимали. Заработанное Васька у него отбирал и выдавал по своему усмотрению.

Режим в стране Глеба не касался, только ментура дожимала: отдай оружие или иди к нам информатором. Глеб кивал: “Согласен. Эт-то, мол.. только удостоверение красное дайте. С гербом.. временно”. Менты плюнули и отцепились. Оружие Глеб хранил на даче.

Пустыня весной — рай! Тюльпаны, маки — до горизонта! Пьяный духман!.. Пустыня внемлет Богу и звенит хрустальными колокольчиками! Никто не кусается. Эдем! Парадиз!.. Но — только неделю. Потом без перехода — ад, пекло! Пятьдесят! И уже вокруг — лишь раскаленный песок с редким саксаулом, верблюжьими черепами, обшивками недогоревших ракет. Шелушатся такыры, схватываются серой коркой опасные солончаки, маскируясь под обычную твердь, миражи морочат голову, видимость колышется в огнедышащем студенистом мареве. Зато ночью можно дотянуться до Млечного Пути. Но — комары! Мы мазались с головы до пят маслянистым репудином и, склизкие, засыпали. Глеб комаров игнорировал. Он закрыл от них только лицо огромной, боксом расклепанной, ладонью, а тощий его жилистый хлуп кровососы не тро-



Лев Болдышев, он же Глеб Богдышев.

гали. В тальниках чавкали кабаны, в Сырдарье плескалась большая рыба, истощно орали ослы — Иванов, Петров, Сидоров, оформленные Зайонцем экспедиторами по трудовым книжкам.

Сначала мы работали в одежде, оголяясь кратковременно, чтоб не обгореть. Потом стали раздеваться; наконец мы с Васькой сняли плавки. Васька носил их на голове от перегрева. Я вообще забыл, куда их сунул. Глеб трусы не снимал: неприлично. В свободное время он вязал бредень с особой мотней.

Мы закончили замеры. Васька приладил Петрову на спину самодельное седло из одеяла, взял трос: собирался в пустыню ломать саксаул на топливо, а кроме того, купить у казахов араки — мы соскучились по водочке.

— Немцам рыбкихвати, — напомнил Глеб.

Однажды во время охоты мы заплутали, запилили в поселок к немцам Поволжья, ссыльным. Они забыли, что они немцы. От немцев остались только имена: Зигфрид, Марта, Детлеф... Оборванные, беззубые, они вымирили среди пустыни в развалившихся халупах с выбитыми стеклами, рваными одеялами вместо дверей. Зашмыганный сопливый малец играл конским копытом. Приехал на лошади казах — управляющий, лениво выбил Зигфриду последний зуб за украденного барана и, не сказав ни слова, убыл. Марта подобрала зуб, вытерла мужу подолом кровь и грубо сказала Глебу: “Дай закурить”. Глеб оторвал полпачки “Беломора”: “Бите зер”. “Данке щён”, — хрипло хихикнула Марта.

Глеб стал регулярно подкидывать немцам рыбки, сайгачатины, папирос, как-то приволок даже джейрана. Васька был недоволен таким расточительством. И просто бо-

ялся: джейраны, сайгаки и даже саксаул были под запретом в Красной книге.

— Э-это, мол... Едет кой-то временно... — взглядываясь в марево, сообщил Глеб.

Васька достал бинокль.

— Блондинка в очках.. И Зайонц.

Я заметался, сел в раскаленный песок — пыталово!

— Где мои плавки?!

Вскочил, прикрылся миской, спрятался за Иванова... Осел думал о своем, пацанском, выпустив до земли основную деталь. И в такой композиции я встретил.. Люлю с гитарой, длинноногую, белокожую по московской погоде, стриженную под тифозную блондинку, с неизменной косметической сумой на плече. В алых шортах. На щиколотке — золотая цепочка. В общем, это была какая-то другая Люля.

— Девушка в красном — дай несчастным! — простер к ней руки Васька. — Игорь Лазаревич, зачем вы к нам таких телок возите!

— По-олно, батенька. Это у вас гогмон иггает, Василий Дмитгиевич.

— Вася, ты похож на Джека Лондона и Мартина Идена одновременно. — Люля, осторожно промокнула пот, чтобы не повредить макияж. — Тебе из всей одежды больше всего идут плавки.

— Я их в основном на голове ношу — от ультрафиолета, — сказал Вася. — От него импотенция падает.

А Глеб все стоял, раскинув руки, как знак качества, небритый, с репьем в волосах, тощий амбал.

— Вась, дай хоть расческу временно... Эт-то не Лю-юля...

— А кто же? — Люля обернулась к Зайонцу. — Игорь Лазаревич, а парнишки-то у вас типа — запущенные. Все

дуракам объясни. Да я нос себе сделала! И — круговую. — Наконец заметила меня за ослом с прибором, приспустила очки. — Не поняла?.. Это... чьё?.. — Ослик сделал два шага. — Ишь ты, какая Венера Милосская! Миску-то положи — не в бане. Уж будь естественным до конца. Ты ж у нас поборник правды. А хочешь, я тебе свои трусы одолжу?..

— Вот твои плавки! — крикнул Васька.

— Шабаш! — скомандовал Зайонц. — По коням и — на базу.

— Жарко у вас, — сказала Люля. — И змеи, наверное?

— Змея никогда не укусит бегеменную женщину, — усмехнулся Зайонц.

— Ну уж нет! — возмутилась Люля. — Хуюшки вашей Дунюшке. Пусть лучше кусает.

— На вот. — Глеб снял с себя грязную майку. — Головку прикрой.

— Надо было “чехол для люля” прихватить, — вспомнил я.

— Игорь Лазаревич, я хочу вам рыбу фиш сделать. Глеб, мне рыба нужна. Много. И мясорубка.

— Мясогубка есть, — сказал Зайонц. — Но — без гучки. Сегодня не пить!

Конечно, мы поддали ночью — под звездами. Люля пела под гитару. Потом Васька включил Адамо, Азнавура, и мы танцевали...

Рыбы мы с Глебом наловили немислимо: сазаны, лини, судаки, длинные изворотливые щуки... Люля решила искупаться. Зашла по пояс с сигаретой в воду и застыла. Купание закончилось.

Глеб в длинных мокрых трусах любовался ею с берега.

— Такая фигуристая и стоит...

А Васька спешно налаживал мясорубку, чтобы мухи по жаре не успели накидать на рыбу червяков: вместо ручки приспособил метровый ворот от бура, которым мы отбирали пробы грунта. Просверлил, закрепил.

— От винта-а!.. — И крутанул ворот. Мясорубка загудела — стол заходил ходуном. Ворот с уханием рубил раскаленный воздух. За десять минут Вася прокрутил всю рыбу.

Зайонц по рации кликнул друганов — вертолетных, те мигом прилетели — привезли из Джусалов водки, шампанское и мороженое.

Ночью поехали на охоту. До утра колесили по пустыне, пугая мелочь — лисиц, волчишку задрипанного, но сайгу не нашли. Нашли верблюда. Он сидел по горбы в солончаке, весь в грязи, уставший, лениво повернул на свет фар надменную голову. Невдалеке бродили две тени — волки.

— Они его и загнали, — сокрушенно сказал Глеб и выстрелил в хищную сторону. — Боятся в солончак лезть.

— Может, вытянем? — сказал Васька. — Тросом?

— Не доберемся... Казахи забьют на мясо. Вы ехайте, я его постерегу, может, чего придумаю временно...

Через полгода последнего брака Глеб “потерял” паспорт, а когда нашел, обнаружил, что выписан из квартиры. Перебрался на дачу. На Хаву Исаевну не обижался, даже восхищался ее сноровкой. А в скором времени новая родня угостила его неправильной водкой и Глеба не стало.

Я пошел к Люле сообщить горестную весть.

— Он меня подрубил под венцы, — сказала Люля. — Так с друзьями не поступают.

Я впервые увидел, как Люля плачет: слезы тонкими извилистыми проталинами текли по ее лицу, размывая толстый слой косметики, — как у грустного клоуна.

В принципе он был не Глеб Богдышев, а Лева Болдышев.

А Люля.. Люля сказала, что фамилии у нее нет, и свою фотографию для публикации рассказа она не даст. Но у меня на дачном заборе осталось панно: она изобразила себя в четырех ипостасях — времена года. И рядом свою серую покойную кошечку, тоже Люлю.

Общаемся мы теперь редко, да и то по телефону. Застой вместе с дружбами давно кончился. Я так никогда и не видел ее лица без косметики. В детстве, помню, носила веснушки и тонкую талию.

Ингерманландка

...Славен выдумкой и пляской
Храбрый полк Ингерманландский.

Из старинной песни

Вольфсон. Я представляю его так: в брезентовом плаще, резиновых сапогах, сутулый, он брел по Карельскому перешейку, уточняя трассу высоковольтной линии, которую тянул. Возле ручья белобрысяя девка палила костерок. Он подошел. Девица вскочила, ногой зашерудила в огне, стараясь что-то утаить. Вольфсон отгреб ее в сторону, сапогом выковырнул обгоревший паспорт. Разлепил страницы, сличил девушку с документом, полистал дальше и сказал, что в деревне, где жила Ида, снимал дачу. И сказал, что возьмет ее на работу. Дело было осенью 45-го. В конце 80-х Ида Юхановна, моя теща, просила разыскать благодетеля. Вольфсон отыскался, но был уже немощен и безучастен.

Родилась Ида Сокко в финской деревне Марково под Ленинградом, у станции Мга. Отец работал на железной дороге. Перед обедом отец читал Библию. Мать пела в церковном хоре. Отец был отчасти самодур: по его арифметике первая беременность жены совпала с его пленом на германской войне. И потому старший сын Юхан был изгнан из его сердца. Иду отец любил за смешливость, редкую у финнов, трудолюбие и своенравную самостоятельность, похожую на его упрямство. Он любил расчесывать ей косы: “Какие у тебя золотые волосы, Илли”.

Зимой дом заносило снегом по уши. Корова Лиза, овцы, свинья и сивый мерин Риго особых забот не требовали, тогда вся семья вязала, даже братья. Тикали ходики, кот Мури аккуратно играл с шерстью, глухо позвякивали многочисленные спицы, дом заполнялся бормотаньем: “Юкси, какси, колма, нелли...” (один, два, три, четыре...) — вязальщики считали петли.

Юхан не выдержал ненависти отца и ушел к русской бабе с ребенком. Отец проклял его. Разлом в семье ударил по младшему сыну: он заболел миллиарным туберкулезом и умирал на гладкоструганом прохладном полу (так ему было легче). Перед концом к нему прискакал со двора белый веселый козленок и пописал ему на грудь теплой прозрачной струйкой — мальчик засмеялся. Но даже смерть младшего сына не смягчила отношения отца к старшему.

НЭП кончился. Отец упрямо отказывался вступать в колхоз и даже получил от Жданова сочувственный ответ на свою жалобу. Жили единолично, пока советская власть не наехала повторно. Но отец опять переиграл коммунистов: ночью исчез, наказав жене его не искать, а дочерям — не жить с мужчинами вне брака. Когда пришли его забирать,



Ида Сокко с дочками.

мать сказала, что муж уехал на Урал к брату и уже умер, подтвердив сказанное поддельной телеграммой. Осиротевшую семью в колхоз загонять не стали, из дома не выгнали, но все отобрали. Пока мать, как могла, отвлекала грабителей, Ида потихому повела мерина в лес, но сзади стрельнули, и она вернулась. Рихо был недоволен, когда его уводили, выкручивал тяжелую башку назад, недоуменно моргая светлыми ресницами. Послушная тихая свинья, сокрытая матерью в сене, под самый конец разбоя хрюкнула. Забрали и ее. Бог помог пережить горе, один только раз Ида заплакала, увидев на чужих материн фартук и носки, связанные братом, с буквой “Ю”, Юхан. Она плакала, а кот Мури слизывал слезы. Со временем печаль рассосалась, и Ида с сестрой даже бегали в русскую деревню на танцы.

У русских было проще, чем дома, одного Ида понять не могла, почему они не любят порядок и разводят таракайнен. Один раз веселый гармонист пристал к ней и порвал платье. Ида пожаловалась брату. Юхан надел кастет и поговорил с гармонистом: больше Иду не обижали.

Перед финской у Иды завелся ухажер. Она ездила в Ленинград за покупками и в кино. Ей нравился фильм “Семеро смелых”. Особенно песня. Как-то ее окликнул парень из их деревни, Людвиг. Он учился в Ленинграде на летчика. Ида приехала к нему на свидание в Ленинград, но белесый правильный Людвиг ей не приглянулся. На следующее свидание Ида позвала Людвига в церковь, где они с мамой пели на Рождество. Он отказался: курсант и комсомолец. Ида решила не выходить за него замуж, ей больше нравились темноглазые.

Юхана призвали на финскую, но в особом обмундировании, в котором сведущий человек мог опознать в нем

финна. Вернувшись без двух пальцев на ноге, он рассказывал: в захваченной деревне попросил у пацаненка воды. Малец воды не дал, только шипел: “Пуна, пуна..” (красный, красный...). Воды принесла старуха. И на глазах брата разбила пустой стакан о камень. Еще он сказал, что скоро начнется война с немцами, потому что теперь — после финской — Гитлер знает, что русские слабые.

И большая война началась. Средний брат Петери служил срочную под Гродно, его убило в первый же день на аэродроме. Юхана мобилизовали, теперь в трудармию. Деревню разнесла немецкая авиация, выживших переправили через Ладогу, где в землянке мать и сестра Иды умерли от голода. Ида отнесла их на себе в штабель из обледеневших ремесленников. Прямой родни не осталось. От голода Ида слеpla, но не ослепла. Весной 42-го ее вместе с подругой Хильмой, тоже Сокко, спешно эвакуировали в Сибирь, но привезли на Кавказ. По дороге длиной в два месяца они чуть не умерли от цинги и дизентерии. Трупы выносили на редких остановках. Ида с Хильмой ползти умирать в дальний конец вагона, в вонючий куток, где доходили обгаженные больные, не хотели, и старики, из здоровых, за руки вывешивали их, бесплотных, по беспрестанной нужде на ходу из вагона. Ида ждала, когда однажды немощные деды ее не удержат, и она улетит вниз, а потом — вверх, где вся родня. Смерть ее пугала не очень. Их привезли в Нальчик. Здесь войны не было. После санобработки им выдали жеваную одежду и повели на концерт Ляли Черной под открытым солнечным небом. Подруги еле волоклись, тем не менее к ним подкатили местные парни: “Видать, лихо девочки ночьку провели!..” После концерта эвакуированных повезли на дальнейшее житье в чужие опасные горы.

Вблизи горы оказались нестрашными, пологими, обросшими душистым незнакомым кустарником; колючие снежные шапки были далеко, как на картине; выше всех двугорбый Эльбрус. Солнце неспешно перекатывалось по пустому небу — горы все время меняли цвет. В хрустальном воздухе звенела тишина, бесшумно падала вода из-под снега с дальней скалы, переходя в прозрачную речку, ржавую на поворотах от избыточного железа. На деревьях зрели бесплатные фрукты. Ида не могла в это поверить — так не бывает! У нее заломило сердце.

Плоские сакли лепились к горам. Изредка заполошно орали ослики. Хозяева — беззубый дед в папахе, черном бешмете, галифе, в ичигах и хмурая молодуха в глухом длинном платье — отвели им угол в сарае на земляном полу. Советская власть из аула ушла. Ждали немцев. В саклях висели черно-красные портреты Гитлера: “Да здравствуют свободные кавказцы в союзе и под защитой великой Германской империи”. Фюрер был похож на легендарного финского генерала Маннергейма, которого отец Иды боготворил, потому что воевал вместе с ним против германцев на первой войне. Но Гитлера, несмотря на схожесть с Маннергеймом, Ида не любила.

Первым делом Ида нашла чахлый дубок, надрала коры и сварила пойло для окончательного закрепления живота, так делала мама, когда детей несло. Оклемавшись бесповоротно, уяснила местную проблему — топливо, и они с Хильмой рыскали по округе, воровали кизяки даже из чужих аулов. Хозяйка стала приветливей, кроме затирухи из кукурузной муки стала давать по куску мамалыги. На крыше сарая свил гнездо козел Бяшка. Вечером он приводил трех овец и, как уполномоченный, у загона пересчи-

тывал их, затем в два прыжка взлетал на крышу. Ида дразнила Бяшку через потолок — козел бил копытом, хозяйка была недовольна. Ида выпросила у нее бросовую, в репьях, шерсть, спряла, и на кленовых веточках вместо спиц связала гетры с помпонами. В благодарность хозяйка подарила ей спицы и выделила подругам персональный кумган — позеленевший медный кувшин для гигиены, с такими местные ходили в уборную.

Пришли немцы, но не воевать, а на отдых. Среди них были пожилые. Живьем фашистов Ида увидела впервые, если не считать мертвого летчика, вцепившегося в штурвал самолета, который упал на поле возле их деревни и не взорвался. Летчик был целый, не порченный смертью, угрожающе скалил любопытной Иде зубы, а вытаращенные глаза его были запорошены пылью. До бомбежек они махали самолетам платками, а мать Хильмы даже считала Гитлера “интересным мужчиной”.

Иду с Хильмой взяли стирать и чинить прохуду. Нижнее белье у немцев оказалось шелковое. Голод кончился: солдаты отдавали им остатки еды, показывали семейные фотографии. Вскоре Иде привезли из Нальчика швейную машинку, и теперь она тархтела на ней. Исподний шелковый неликвид немцы разрешали брать домой. Из него Ида сшила деду подштанники с оторочкой, правда, забыв про ширинку, а кормящей грудью хозяйке — ночную рубашку с прорезью на боку, чтобы кормить без проблем, такая была у мамы. Хозяйка стала звать подруг по именам, а дед сколотил узкий топчан, до конца войны они спали на нем вальтом. Теперь Ида беспокоилась только за прибившегося еще в эшелоне пятилетнего рыжего Абрама. Немцы его почему-то не трогали. И вдруг он пропал. Отыскался Абрашка

возле походной кухни. Перепачканный шоколадом, он скакал на палочке вокруг котла, подпевая на своем, похожем на немецкий, языке. Солдаты смеялись, повар выудил из автоклава недоразрубленную переднюю баранью ногу, обмотанную макаронами, протянул Иде. Более всего Ида боялась кабардинцев, даже не самих кабардинцев, а летящего от них по воздуху сифилиса, от которого у многих не было носов.

В августе в аул тоже на отдых прибыли молчаливые эсэсовцы в черных мундирах, высокие блондины с отсутствующими лицами. От них шел страх и холод. Иде в то время проходу не давал липучий чернявый румын в кургузой шинели. Утром полуголый эсэсовец бежал к ледяной реке. Поравнявшись с румыном, цепляющимся к Иде, не останавливаясь, без замаха коротко и страшно ударил его, будто перерезал шею, под мышкой у немца мелькнула татуировка. Румын упал, хватая воздух ртом. Абрама эсэсовцы почему-то не замечали.

Вскоре к Иде подобралась напасть почище румына. Шалва, грузин из кавалерийского полка изменников, расквартированного в Нальчике, искал по заданию начальства белого коня для подарка немецкому командованию на праздник курман-байрам. Нужного коня не нашел, нашел Иду на дороге с хвостом: “Вай, какой белый!..” — и поднял на дыбы своего коня. “Зарежет”, — обреченно решила Ида. Но тот неожиданно мягко предложил ей: “Садыс покатай”; деликатно, не лапая, помог забраться в седло, подтянул стремяна. Ида шустро поскакала по тропинке... Шалва был высокий, красивый, черноглазый, но уж очень опасный. В другой раз он завез ее высоко в горы, показал в бинокль фашистский флаг на Эльбрусе, который поста-

вил “его близкий друг из “Эдельвейса” и по дороге в аул сказал Иде, чтобы шла за него замуж. Шалва Иде нравился, но она знала, что он предатель, и отказалась. Ночью Шалва ворвался в сарай, наставил на Хильму пистолет: “Хильма, уйди, убью!” Хильма закрылась от грядущего выстрела одеялом, но не ушла. На крыше заворочался Бяшка. Шалва пнул ногой кумган, выкрикнул русский мат и скрылся. Позже Ида в осколке зеркала долго рассматривала себя по частям, но так и не поняла, чего Шалва в ней нашел — красивой она себя не считала. Потом хозяйка призналась: Шалва подкупил ее, чтобы не шумела: обижать местных, в том числе эвакуированных, возбранялось.

В январе 43-го немцы ушли. На прощание Шалва приволок подругам велосипед, барана и мешок муки, помог спрятать. Утром в аул вошли наши. Уставшие, заморенные, в обмотках. Велосипед, барана и муку отобрали. В НКВД финок допытывали, зачем были в оккупации, почему не ушли в партизаны, не покончили с собой? Но отпустили. Опять началась голодуха. Спас третий секретарь райкома, кабардинец. Он устроил их в библиотеку, там было тихо, но голодно; тогда он перевел их на молочную ферму. На дойку Ида звала с собой местного кота — скидывала ему пену с молока. Мама тоже всегда звала с собой на дойку Мури. Секретарь был темноглазый, говорил смешное, с Идой был любезен, но велел на людях, когда он на коне, идти сзади. Такой кавалер Иду не устраивал. Позже выяснилось, что секретарь не кабардинец, а балкарец и, стало быть, сотрудничал с немцами, и весной 44-го его вместе с другими балкарцами куда-то увезли.

А 9 мая 45-го утром, как обычно, на ферму приковывлял заведующий на деревянной ноге:

— Де-евки-и!.. Война кончилась!

Хильма поехала в Эстонию, там обнаружилась ее родная сестра Сайма, дурочка от энцефалитного клеща, взятая после расстрела отца в детдом. Ида решила ехать домой. Перед отъездом попрощалась с горами.

Вместо деревни торчали печные трубы. Побираясь, она добрела до Карельского перешейка, где на нее и наткнулся Леонид Вольфсон. Он определил ее учетчицей, чтобы не сидела на одном месте, и велел побольше молчать. На дальние участки Ида ездила на полуторке, на близкие добиралась пешком. Вольфсон предупредил, чтобы в лес ни ногой — неподалеку проходила линия Маннергейма, и грибные бабы порой подрывались на минах. Ида была счастлива: она в настоящей Финляндии! Работяг Вольфсон держал в строгости, но один крановой пристал к новой учетчице. Вольфсон дознался, и крановой все понял. Впрочем, баб и без Иды на трассе работало в достатке. Как-то она подобрала барахтающуюся в разлитом мазуте птицу и заночевала у обходчика узкоколейки. Пока чистила головустую разноцветную сойку керосином, старик бормотал жалостливые слова. Под утро сойка оправилась, заорала дурным голосом, дед выпустил ее на волю и подвел итог: “Дочка, у меня сын без руки, да и ты ведь нерусская — поженитесь, все лучше, чем на особицу...” — погладил по голове. Но Ида необходимо отвела его руку, подняла мокрые глаза к небу за ржавой кровлей продувной халупы, сцепила пальцы на груди и сказала строгому финскому Богу: “Отче наш!..”

И через месяц Ида вышла замуж. Несла воду. Чтобы не ходить пустой, при ней всегда была корзинка на шею —



*Стасик, Ида, бабушка, Нюра и Лёля на даче, начало
50-х годов.*

вдруг какая ягода. В тот раз отвлеклась на бруснику. Прораб Станислав Лауэр возвращался с работы. Он давно приметил улыбчивую, неразговорчивую блондинку, но по скромности не знал, как к ней подступиться. Он поднял ведра, намереваясь помочь.

— Положите воду на землю, — твердо сказала Ида. — Положите.

Инженер удивился, но послушно положил ведра на бок — первой засмеялась Ида: русский язык до конца ей не давался. Мать Стасика, усомнившись в выборе сына, заслала на Карельский перешеек шпиона, подругу еще по Варшаве. Та отчиталась: “У нее белые волосы, стройная, скачет по камням, как горная серна. Стах счастлив”. На свадьбу Вольфсон выкатил бочку спирта. Ида, как велели, выпила стакан: рельсы узкоколейки расползлись в разные стороны. Теперь она стала Идой Ивановной Лауэр, без огрехов — Вольфсон помог с паспортом. И выделил молодым брошенный финнами домик. Про любовь Ида не думала, завела хозяйство: огород, кроликов... Вольфсон гарантировал Стасику служебный рост, уговаривал остаться, но тот уже шесть лет не видел мать, и за неделю до родов молодые перебрались в Москву на улицу Грановского — до Кремля рукой подать. Свекровь встретила Иду без ласки: все-таки отец Стасика кончил Сорбонну, сама она — университет в Цюрихе. Правда, отца Стасика расстреляли, сама же Елена Маврикиевна, чудом уцелев благодаря разводу с мужем, работала за копейки в подвале у слепых. Да и квартира была хоть и хорошая, но коммунальная, густозаселенная.

Ида хотела мальчика, чтобы назвать Иваном в память сгинувшего брата Юхана. Родилась девочка. Но акушер, ар-

мянин с волосатыми, как положено, руками, остался недоумен, надавил кулаком ей в живот, и на свет выскочила вторая девочка. Ида испугалась: что скажет Стасик? Но Стасик прислал записку: “Хорошо, что двое, будут дружными. Завтра принесу хлеб, полбутылки молока и яблоко”.

В бесконечном коридоре коммуналки стояла волшебная арфа. Еще в квартире был рояль. За хозяйкой арфы красавицей Таней Шереметьевской ухаживал артист Кадочников. К визиту звезды Таня договаривалась с соседями — на время легендарных свиданий они замирали. Кроме Марьи Дмитриевны. Скрученная, дополнительно скрученная еще и по оси, в белом мужском белье, она умудрялась почувствовать естественную нужду Кадочникова и неизменно настигала его на пути из туалета в ванную, где делала ему комплимент и желала счастья. Несчастливая же Таня лишь тщетно стонала сквозь зубы, приложив роскошную руку к белоснежному лбу: “Уйди-ите, Марья Дмитриевна”. Сосед, владелец рояля Левон Хачатурян, брат автора будущего “Спартака”, порой успевал выхватить Марью Дмитриевну из-под носа Кадочникова и на весу уволакивал упрямую старуху.

Иде придали няньку, старательную и жалостливую, она все время тихонько подвывала. Прислушавшись, Ида разобрала: “Помру-уть девьки — с меня спр-о-осють..”

В конце 47-го ночью раздалось пять звонков — к ним. Ида открыла.

— Терве. Здравствуй, Ида. — На пороге стоял Юхан.

С изъеденным, в гное, лицом, беззубый, страшный. Чтобы не закричать, Ида закрыла ладонью рот. Нашел по справке через Хильму, та ведь тоже — Сокко. О себе сказал: было тяжело. В доме уже водилась еда (недавно

отменили карточки). Юхан ел медленно. Ида помогала ему — крошила котлеты и рассказывала... Перед рассветом брат ушел: “Ты меня не видела, меня не ищи”. Так же сказал когда-то отец. Ида сидела в темноте, гадала, не помешалось ли: этого быть не могло. В соседнем доме жило правительство: Булганин, Буденный, Ворошилов... Через Манеж — Кремль, Сталин... Этого быть не могло. Но это было. На рассвете она вернулась в разум, поставила точку и стала жить дальше.

Кончив кормить грудью, Ида пошла в вечернюю школу и на курсы кройки и шитья, которые окончила с отличием. Ее дипломный костюм брусничного цвета, отороченный шелковой лентой, был выставлен в магазине “Одежда” на Кузнецком мосту. Ида валилась от усталости, но, восполняя свою жизнь, баловала дочек. Поэтому они плохо ели. Им было тесно в коляске, и они рано пошли своим ходом. Стасик пропадал в командировках. Дочки его забывали, дичились и пятились при встрече, как кошки. Он кончил второй институт — мехмат МГУ, в который его первоначально не взяли как сына врага. Занимался он гидроэлектростанциями, но мечтал об атомной энергии. Вечерами играл сам с собой в шахматы, чертил под розовым абажуром карты путешествий, в которые мечтал отправиться с Идой, в том числе на Кавказ, который в начале 30-х вместе с отцом исходил от и до. Они мечтали, как найдут благодетелей Иды — деда и молодуху. Но пока было не до того. Отношения Иды со свекровью по-прежнему были тяжелые. Бабушка занялась культурным воспитанием внучек, говорила с ними по-польски, много читала. Во рту торчала неизменная папирота “Север”. Нянька вместо Александровского сада водила девочек “смотреть красивое” в церковь в Брюсовом

переулке. Большим праздником для нее были похороны в Колонном зале — очень близко и очень красиво: хрустальные люстры были затянuty черным газом, а нарядный румяный покойный лежал в море цветов на красном постаменте. А для свежего воздуха — чтобы не гулять попусту — няня сажала девочек на парапет набережной Москвы-реки. От гулянья няню безболезненно отстранили: на прогулки с нарядными послевоенными близнецами в квартире и без нее была очередь.

На Рождество 1952 года Ида поехала в Эстонию. Шел дождь со снегом, но по тревожному морю плавали белые лебеди. Хильме повезло. Ее сестру полудурку Сайму, убежавшую из детдома, подобрала на вокзале состоятельная эстонка, в работницы. Дала объявление на поиск родни.пустила и Хильму, устроив ее грузчицей в порту. Благотельница была очень строгая, улыбаться не умела. Как-то в мороз Сайма в уборной подложила под попу рукавицы для тепла, одна рукавица упала вниз. Сайма сказала, что украла собака. Весной выгребали яму — рукавица нашлась, Сайму наказали. На ночь сестры должны были целовать старуху и делать книксен. Отыскались и две другие сестры Хильмы и младший брат Каллэ, тяжелый заика с детства — при нем арестовали отца. Хильма бросилась в ноги эстонке: Каллэ пустили в дом, сестры устроились на работу с общепитом. А главное — старуха дала Хильме длинную ссуду на обустройство общего дома возле своего хутора: от былых времен там остался запущенный низкорослый трактир из огромных валунов. Почти одновременно Хильмины сестры вышли замуж за русских, белорусов-сверхсрочников, шоферов стройбата. Восстановление “трактира” при помощи советской армии шло быстро и недорого.

В огромном камине-очаге пылал торф, на подоконниках Хильма расставила свечи. Ида с Хильмой не виделись семь лет. Хильма угощала непьющую подругу “соками на спирту”, вернее, на самогоне белорусской выделки. Вспомнили Абрашу, Бяшку на крыше, Шалву с пистолетом... Хильма достала нечеткую фотографию, сдержанно всхлипнула — вот: похороны, жених, он повесился.. Ида не поняла: “Зачем он тебе в гробу-то нужен?” Про Юхана сил рассказывать не было. Хильма и не настаивала. Дурочка Сайма весь вечер простояла возле Иды, робко касаясь ее плеча, как бы проверяя, что это настоящая Ида. Заика Каллэ тоже хотел говорить: тужился, краснел, плевался, но ничего не получалось. Вечером стройбатовский грузовик привез сестер с мужьями-белорусами. Каллэ перебрался к ним на дальний конец стола и стал активно нагнетать “соки”. К ночи из церкви на велосипеде с фонариком, невзирая на хлябь, прикатила старая эстонка знакомиться с московской гостьей, все встали, кроме белорусов: они попытались подняться, подталкиваемые женами, но не смогли.

— Спать иттите! — приказала им эстонка. — Как вы сеппя вóозите!.. Так сеппя вести нельзя!

Белорусы исчезли, эстонка прочла короткую молитву, и все вместе запели рождественский гимн “Тихая ночь, светлая ночь..” Пьяный Каллэ заплакал.

С Идой я познакомился в 82-м. У меня со скрипом шла книга в “Совписе”. Редакторшу я, видно, достал, она от меня скрывалась, велела матери: “Если позвонит Каледин — меня нет”. Однако врать Ида не умела, в результате я напросился в гости и от смущения привел трех товари-

щей. Сестры-близнецы растерялись, а Ида Ивановна прикидывала, хватит ли голубцов, в уме пересчитала гостей по головам: “Юкси, какси, колма, нелли...” Я занял у редакторши денег и сбежал за дополнительным алкоголем. Сестры от ситуации явно страдали, а Ида Ивановна веселилась. Для экономии она иногда звала дочерей — Олю и Аню — Оней. Я закусывал килькой без потрошения. “Сережа, так нельзя, надо голову снять и хвост”. Спросила, есть ли у меня кастет? У ее брата Юхана был. У Иды плохо видел один глаз, она прикрывала его ладонью: “Когда он совсем потухнет, я его сниму”. Рыжий толстый кот Мури был возмущен нашествием и от злости перекусил телефонный провод. Я вызвался восстановить связь и удивился стерильной чистоте телефонного аппарата. Мы активно выпивали, кто-то пошел искать гитару, а Ида Ивановна, чтобы не терять времени даром, дочитывала вслух письмо от Хильмы по-русски, но без запятых: “Хелена растолстела всвязи родов боится перевес. Сайма моет посуду в столовой получает гарнир на дом. Арвид выстрелил себе рот похоронили Каллэ стал пяницей укусил Анну ей поставили руку на гипс от вина перестал заикать. Я стала старая из порта ушла теперь продаю квас но мне хватает голову...” Дело, однако, было уже к ночи. Я прикинул сквозь хмель: редакторша видная, сестра культурная, тоже редактор, телефон чистый, маманя — вообще атас! Какого ж еще рожна!.. И позвал редакторшу замуж. Ольга Станиславовна устало подала мне куртку: “Хорошо, хорошо, все завтра...” Однако я заявил, что, раз она согласна быть моей женой, я остаюсь ночевать. Но “невеста” заартачилась. Обошлось без милиции, и с пятеркой на такси меня выпроводили. На скором браке я тем не менее настоял, а книга тормознулась еще на четыре года.

Тридцать лет Ида провожала мужа на работу: “Ты пошла?” Он, улыбаясь, привычно кивал: “Пошла, пошла” — и прыскал астматическим баллончиком в рот. Но однажды ушел на год к другой женщине. Ида уехала в больницу с инфарктом, а оправившись, просила у дочерей папиросу. В то время она работала в аптеке. Дочери настаивали, чтобы она бросила работу, но заведующий встал перед нею на колени, и она осталась на полставки. На работе она забывала о плохом, хотя легкодоступные яды порой навеивали нехорошие мысли... Но глубокого уныния у нее не получалось: она вдруг хватала дочерей и начинала кружить с ними по комнате — хотела танцевать. Или решала переставлять мебель. Дочери двигали шкафы и обреченно стонали: тяжело. “Чего там тяжелого!.. — возмущалась Ида. — Была бы я здорова...”

Стасик вернулся, его астма обострилась. Дочки отца не простили. Когда он умер, Ида кричала дочерям: “Вы никто!.. Вы никогда не ответите мне ни на один вопрос. Вы не знаете, как называется эта звезда! А папа знал!..”

Оставшись одна — после разбора замуж дочерей, — Ида пустила квартирантку — аспирантку. Аспирантка была средних кондиций, с проблемными волосами, но уверенная, водила образованного негра, который Иде нравился — она пекла ему пирожки и уговаривала постоялицу выйти за него замуж. Но квартирантка экстренно полетела в Париж, где вышла замуж за невысокого француза. И первым делом прислала Иде приглашение, но самолет Иде был уже не по плечу.

За два года до путча Иду разбил крутой инсульт. Но Бог отмерил ей еще четыре года. Русский язык она вспомнила, но финский забыла. И смертельно захотела



Дачный театр. В первом ряду Нюра и Лёля.

на родину: станция Мга, деревня Марково. Через Таллинн, чтобы захватить Хильму. Машина у меня была старая, жоркая: восемь канистр на багажнике еле хватило до ближайшей заправки в Эстонии. Но бензиновая тетька, русская, углядев из своего дупла московские номера, топлива не дала. Я вынул сухой пистолет из горловины бака, передал молодому эстонцу, подъехавшему на ЗИЛе:

— Не дает.

Тот равнодушно пожал плечами.

И тут Ида, опираясь одной рукой на дочь, другой — на воздух, шагнула к парню: “Терве... Суоми...”

— Не смей давать!.. — заорала баба по радио. — Милицию вызову!.. На базу сообщу!.. Номера записала!..

— Тутáа. — Парень кивнул мне на сосновый бор. — Тут-таа ехай.

На последнем издыхании я вполз в прозрачный лес. Подъехал ЗИЛ, шофер, не торопясь, надел рыжие перчатки из выворотки, достал шланг...

К этому времени старая эстонка умерла. “Белорусские” сестры построили свои дома, и в “трактире” остались Каллэ с семьей, Хильма и Сайма. Каллэ спивался, затюкал жену. Племянников вырастила Хильма. Каллэ пьянствовал четверть века, но потом резко завязал без помощи медицины. На десятом году трезвости он объявил Хильму “ленивой блядью” и выгнал из дома вместе с Саймой, сказав, что в доме мало места. Насчет “ленивой бляди” Хильма была не согласна вдвойне, ибо была девицей, а вот места действительно стало маловато. Деньги у сестер были, порт выделил кооперативную квартиру в Таллинне. Туда-то мы и привезли Иду.

Дома была Сайма. Она приникала к Иде, замирая, гладила волосы, не дотрагиваясь, и тихо мычала. Целоваться-обниматься не умела.

— Где Хильма? — спросила Ида.

Сайма мелко кивала и крестила воздух.

— Хильма в церкви, — сказала Ида и опустила на софу.

И вот хлопнула дверь. В длинном черном пальто колоколом, в шляпе, из-под которой выбивались незабранные седые волосы, зонт-трость наперевес — в столовую, тяжело дыша, вошла толстая Хильма.

— Са-айма!.. — увидев меня, не здороваясь, возмущенно произнесла Хильма, оглядев накрытый стол. — Где водка?!

— Куда поедет? — спросила Хильма Иду на следующий день. — Хочешь в церковь?

— Я хочу-у... — Ида задумалась. — Я хочу... У вас девушки голые танцуют. Хочу посмотреть.

В варьете гостиницы “Виру” нас посадили за стол к трем здоровенным финнам, инженерам по лифтам, они возвращались домой из Бразилии и заехали в Таллинн оттянуться. На столе стояли три пустые бутылки водки. Официант принес еще три. Финны предложили нам, Ида, невзирая на запрет доктора, выпила рюмку. Начались танцы, мимо столиков пошли полуголые длинноногие красавицы. Финны активно убирали алкоголь. Наконец самый толстый вытер салфеткой рот и протянул руку Иде, приглашая на танец.

— Не надо, мама! — взмолилась моя жена.

Но Ида встала, финн застегнул разъехавшуюся на животе рубашку. Второй вытянул Хильму — та было заупрямилась, но сдалась. А худенькую Сайму третий выдернул из-за стола, как морковку.

С эстрады лилось: “Бе-са-мме-е... Беса ме мучо-о...”

На станции Мга сплошняком стояли товарняки. За составами возле леса когда-то была ее деревня Марково, потом печные трубы, а сейчас?.. Хильма позвала Иду в туалет, но та не пошла, обиженная на подругу: дала ей рваный зонтик из экономии, хотя в квартире были целые. Жена сказала Иде:

— Стой здесь, никуда не уходи, я за водой.

Я отправился в другую сторону — у машины вскрикнула сигнализация. Когда вернулся на перрон, Хильма свекольного цвета, раскинув руки, стояла с открытым беззвучным ртом. С другой стороны бежала жена. Иды на низком перроне не было. Она на корячках пролезала под вагоном... Состав лязгнул, сотрясся всеми членами, и медленно тронулся...

— Ма-ма-а! — закричала жена, хватаясь за голову.

Состав ушел. На той стороне стояла живая Ида. К ней бежал мужик в черной шинели. Прикрыв ладонью слабый глаз, Ида смотрела в пустое поле под низким небом...

— А где?.. Здесь люди жили...

— Какие еще на х... люди!.. — заорал было мужик, но врубился, что Ида не совсем в себе, и сбросил газ: — Здесь никто никогда не жил.

Аллея Руж

Что такое счастье — это каждый понимал по-своему.

АРКАДИЙ ГАЙДАР. «Чук и Гек»

Жил человек возле Синих гор. Звали его Янек. Ян Бродовский. Отца его, советского посла в Риге, расстреляли, следом мать, а про Янека впопыхах забыли. Вызвали его в Москву из Берлина, где он учился на строительного инженера, только в 38-м. На Колыму он приплыл в ржавом брюхе баржи — не баржи, параша, ибо на оправку не выводили, и когда отлязгнули люки, свежий воздух сшиб с ног...

Янек выжил в барже по молодости, выжил и потом — помогло инженерство. В 50-м его перегнали в Лабытнанги строить Мертвую дорогу. До самой смерти Сталина Янек вместе с дорогой вмерзал в черную с прозеленью тундру, но потом оттаял и долго спускался по меридиану, пока не осел на комбинате у Синих гор.

До столицы добрался в 58-м. В Москве на Фрунзенской у него была молочная мать Софья Сигизмундовна Дзержинская, выкормившая его в Варшавской тюрьме при царизме. И в коммуналке на улице Грановского жил кузен Стах, Станислав, с семьей: матерью, женой-финкой, у которой Сталин побил всю родню, и дочерьями-двойняшками — Нюрой и Лёлей. Двоюродники познакомились по новой, не вороша былого, в котором их отцы лишились голов за “шпионаж”, а мать Янека — еще и за детскую дружбу с дочерью Пилсудского.

Послушать про Зосю, Софью Дзержинскую, коллежанку по Варшаве, из соседней комнаты с папиросой “Север” во рту выбралась бабушка — тетя Янека. Ида, невестка, отогнала от дочек вонючий дым. Откашлявшись давним бронхитом в темную склянку, бабушка разложила письма. Она не видела Софью Сигизмундовну лет тридцать, хотя жили рядом, но регулярно получала от нее открытки. Последнюю она прочитала вслух, путая русские слова с польскими: “Кохана Хелько! Благодарю тебя за интерес к моей жизни. Как твои глаза? Мои плохо. Подобрали ли тебе добры окуляры?.. Бываешь ли на воздухе?..”

— Янек, а ты помнишь, как Феликс качал тебя на коленке? — спросила бабушка, перебирая письма.

— Он тепегь памятник, — важно пояснила Лёля, старшая — на десять минут — двойняшка.

— Пшепрашам бардзо, а Сэвер жив? — спросил Янек.

— Живо-ой... — Бабушка замяла папиросу в деревянную резную туфельку с янтарным камушком. — Вот... В сорок седьмом прислал: “...Из наших больше никого нет. Дедушка и мама — умерли в Лодзи. Маркус, Регина



Янек Бродовский с матерью.

и Абрам — в сорок четвертом в Варшаве. Цурки Регины остались жить. Со стороны Маркуса вшистцы сгинели... До сорок третьего все было хорошо, потом я был в Освенциме. Почему остался живой — не знаю. Детей у меня нет, есть проблемы со здоровьем. Я стал богатый и с первой же оказией буду помогать... Я очень рад, что у вас все хорошо, вы ждете внука, я тоже буду его любить...”

— Какого внука? — недовольно заинтересовалась Нюра, выживая из супа невкусную морковь.

— Внук — это мы, да, бабушка? — догадалась смышленная Лёля.

— Вы, вы... Не перебивайте.

Разговор уперся в Сталина — родня перешла на польский.

— Непонятно, — пробурчала Нюра.

— Вам нужно знать свой язык, — сказал Янек. — Вы же польки.

Нюра вопросительно взглянула на старшую сестру.

— Ну, что-о вы, дядя, — снисходительно улыбнулась за двоих Лёля. — Мы гусские.

— Перебирайся в Москву, Янек, — сказал Стах. — Вместе будем ЛЭП тянуть. Софья Сигизмундовна поможет с пропиской...

— Зося поможет, — кивнула бабушка.

Янек неопределенно пожал плечами.

— Не надо им знаться по-польски, — тихо, как бы самой себе, с запозданием сказала Ида. — И по-фински не надо.

— Не “знаться”, а знать, — не удержалась бабушка: невестку из финской деревни под Ленинградом она не любила, считала ее неровней сыну.

Девочкам стало скучно, они вылезли из-за стола.

В длинном коридоре на коленях ползала пожилая де-вушка — полотерка. Она с трудом встала, колени ее были желтые от мастики, и они втроем пошли на черный ход кормить котлетами бездомного кота с оторванным ухом. Он нагло побирался на всех этажах, от жира у него вы-росли соски, как у кормящей кошки.

Нюра и Лёля жили неразлучно, как и положено двой-няшкам, хотя помнили, как тесно им было в коляске. Внешне они были не очень похожи, но одинаково карта-вили. Если болела одна, заболела и другая. Лёля с самого начала была покладистой, ей казалось, что если у Нюры что-то есть, то ей, Лёле, самой не так уж и надо. А Нюру кренило глупое упрямство: она не давала Лёле списывать арифметику и, начиная что-то рассказывать, тормозила на самом интересном. С годами свою “противность” Нюра победила, но не до конца: в первую голову она думала все-таки о себе — это называлось эгоизм. Позже выясни-лось, что это — эгоцентризм, который не вытравляется.

На ночь бабушка читала им грустные сказки Андер-сена, дымя папиросой; боязливую Нюру держала за руку.

В день похорон Сталина по крышам, громыхая, бежали люди; падали, осклизаясь, ползли дальше, как тараканы.

В детстве жизнь была дружная, наполовину состоявшая из ссор. Сестры с любимой подружкой Инкой, живущей ниже этажом, ходили за мукой под арку возле приемной Ка-линина, где с ночи стояли ходоки, и за папиросами для ба-бушки, которыми торговали у Военторга укороченные ин-валиды с большими руками — на досках с подшипниками. По Арбату ходили странные, плохо покрашенные, девочки-старушки в самодельных тряпичных туфельках с бантами — Мальвины с неудавшейся судьбой. В Александровском саду

сестры с Инкой собирали желуди. Лёля палочкой на дорожке из толченого кирпича написала: “Инка дура”. Нюра так не думала, она считала отличницу Инку самой умной, но та ответила обеим, чтобы было не обидно: “Нюра и Лёля дуры”. В Кремле открыли общественный туалет, и девочки без нужды бегали туда мыть руки и смотреться в зеркало.

Во дворе их дома часто дрались бандиты, жившие в полуподвалах с грязными окнами, наполовину вылезавшими из асфальта. В соседнем тишайшем дворе правительственного дома номер три день и ночь бродили шпики в одинаковых габардиновых пальто, там была тишь да гладь, а у них бились вусмерть — до конца.

По воскресеньям татарин под окнами истошно вопил: “Старьё-ё берё-ём!..”

От школы их водили на карандашную фабрику Сакко и Ванцетти и на хлебозавод. На их глазах из суковатых деляшек получались гладкие граненые карандаши. Инка сказала, что Сакко и Ванцетти приехали из Италии в Америку делать карандаши, а их за это повесили. А на хлебзаводе из огромного чана с белесым месивом после печки на конвейер выпрыгивали французские булочки с поджаренной коричневой губой.

И карандаши и хлеб были чудом. Сестры впервые увидели, как делаются вещи.

По праздникам в ночном небе над Манежем висели портреты Ленина — Сталина, высвеченные гудящими прожекторами, которыми рулили солдаты. Палил разноцветный салют. Люди на площади танцевали. Стройные торжественные милиционеры в белых гимнастёрках, стянутых в рюмочку широким военным ремнем, похожие на балерин, следили за порядком.

Съемная дача — изба в деревне — огородом касалась поля, дальше расплывалось водохранилище. По субботам сестры встречали обшарпанный пароходик с родителями и гостями. На причале студенты пели под гитару аргентинское танго: “Прости меня, но я не виновата, что так любить и ждать тебя устала..”

Навстречу Иде, истошно шипя, неслись два огромных страшных гуся. Добежав, ткнулись ей в ноги, замерли. Ида погладила их, как щенят. Прошлым летом она выпросила у хозяйки два отбракованных яйца-болтушки, положила в вату под лампу и вывела мокрых гусят. Гусята быстро росли, загадили избу. Их переселили к родне в сарай, но своих они презирали и держались вдвоем, наособицу, копируя Ньюру с Лёлей.

Наступал длинный чудный вечер. Соловьи сходили с ума. Родители с гостями играли в лото, заводили патефон. С волейбольной площадки дома отдыха по соседству с деревней доносились крики. Где-то рядом был Тимур и его команда, Ольга с аккордеоном... Сестры торопились. Их ждала подружка, мечтавшая стать “боксеркой”. Ида кричала вдогонку, что опять ничего не поели.

“Боксерка” повела сестер на зады огорода звать отца ужинать.

— А завтра щенков будем топить, хотите смотреть?

Сестры остолбенели: зачем?!

— Дуры какие! Кто ж их кормить будет?.. Да они маленькие — им не больно.

Отец “боксерки”, полуголый фронтовик, единственной рукой в морских наколках рвал шкуру с подвешенной на турнике телки. Ровно отпиленная тяжелая культя с полурусалкой прижимала нож.

— Закгой глаза, — велела Лёля.

— А щенки-и?.. — всхлипнула Нюра, послушно закрывая лицо ладонями.

Хмельной веселый хозяин мощной рукой подобрал с земли тяжелую окровавленную шкуру и легко швырнул ее за забор.

— Дуська!.. Дарю от щедрот. Сумку сошьешь из этой хуевины.. — Заметил детей. — Трюю лопать? Айда.

— Мы не будем вашу тюгю лопать. Не надо щенков топить!..

— Кого-о?.. Да пусть живут, пропади они пропадом. — Фронтовик великодушно махнул культей — нож выпал из-под мышки. — Говна-то... Зеленъ подкильная. Пошли — по тюре.

Над полем расцвела радуга, одним концом уткнувшись в лес, другим касалась далекой воды. Птичка с оранжевым брюшком перестала клевать зеленую завязь смородины, задумалась и вдруг запела ангельским голосом, будто плела веночек.

В Москву от “боксерки” пришла открытка: “Часики тихо ходили, Лёля в то время спала. Часики тихо сказали: “Лёлечка, в школу пора”.

В школу сестры принесли вшей. Ида кинулась на них с керосином. Вычесывать густые длинные волосы всегда было больно, и, когда полетел Гагарин, сестры самовольно отрезали косы. Тогда же они потребовали, чтобы их больше не одевали одинаково. Ида сшила им разные пальто.

Последним летом на даче началось настоящее счастье: ночные костры, печеная картошка, мальчишки, пахнущие ветром, игра в бутылочку, сигареты “Кармен”, ворованные из бабушкиных польских запасов. В лесу



Лёля и Нюра.

просыхали тропинки — черные с беловатым обводом. На поле в жару пощелкивали зерна. Кукушка сулила бесконечную жизнь.

В городе на них обрушился Ремарк: любовь, туберкулезные красавицы... Об этом можно было только мечтать. Кроме книг страстью стало кино. “Королевство Кэмпбелла”, “Багдадский вор”, “Леди Гамильтон”. Лёля маникюрила ногти, чтобы рука, протянутая в дупло кассы кинотеатра “Художественный” на запретный фильм “Ночи Кабирии”, выглядела как взрослая. Денег на кино не хватало, но сестры под руководством Инки нашли выход. Во дворе Военторга из ящика с молочной тарой девочки взяли на пробу по бутылке и сдали их с другой стороны магазина в специальное окошко рядом с лысым чучелом бурого медведя. Дело пошло. Они смотрели кино до одури, ели мороженое и гуляли. На станции метро “Калининская” над вентиляционной решеткой — “раздувалкой” — раздували юбки. Проклюнулось чувство юмора, на первых порах — рахитичное: встречным женщинам, “женьшеням”, они ставили оценки за красоту. От идиотизма спасало чтение. Позвонила Инка: “Спускайтесь”. Они встретились у подоконника между этажами.

— А вы знаете, что Пушкин САМ написал “Песни западных славян”?

Неожиданно Инка заболела туберкулезом: у ее бабушки была палочка Коха. А у сестер ни бабушки, ни палочки не было.

— У тебя уже есть кровохарканье? — завистливо спрашивала подругу Нюра.

Инку забрали в больницу. На прощание дворовая шпана из жалости напоила ее коньяком до полусмерти.

А на следующий год судьба улыбнулась и Нюре: она заболела. Не так, как у Ремарка, но тоже всерьез. Ее увезли лечить плеврит. А потом — в больницу за городом. “Хронический бронхит” бабушки по недосмотру врачей оказался туберкулезом в открытой форме.

Первое время Нюра рыдала. Больные, в основном провинциальные девки, держали под койкой брагу, по ночам бегали к солдатам, которые не боялись заразиться. В день кроме уколов полагалась двадцать одна таблетка. Соседки по палате спускали лекарства в унитаз, а Нюра очень хотела быстрее выздороветь, делала из таблеток столбики и проглатывала без запивки. Лекарства гнали неконтролируемые слезы. Нюра слала из больницы жалостные письма треугольником, как с войны.

В больнице шел принудительный откорм. Нюра послушно запихивала в себя усиленное питание, толстела и еще сильнее рыдала в уборной, глядясь в зеркало.

Весной в больницу приехал Уголок Дурова, правда, вторым составом: собачки танцевали не в ту сторону и невпопад. Потом вышел плешивый енот-полоскун, ему выдали таз и тряпки. Зверек с яростным рвением принялся за стирку, очень старался: залил весь зал. От смеха больные давились кашлем.

Из больницы Нюра вышла через полгода другим человеком, убежденная в своей абсолютной никчемности. На свободе она разминулась с Лёлей: бабушка передала эстафетную палочку Коха и второй внучке. Лёлю на целый год увезли в больницу на Мещанке. Как-то парень из соседней палаты угостил ее полезным вермутом на лекарственных травах. Вино, соприкоснувшись с лекарствами, сделало ее лицо пунцовым, и Лёля испугалась, что ее вы-

гонят, не долечив. В больнице показывали фильмы, в основном старье. Но однажды привезли новый — “На семи ветрах”, в котором главную роль играла стриженная под тифозную Лариса Лужина. В ближайший парикмахерский день Лёля постриглась под Лужину и вдруг стала красивой.

Из-за больницы Лёля осталась на второй год, и пути-дороги двойняшек впервые разошлись.

Школа была обычная, но особенная: сестры учились вместе с дочками маршалов. Отец Наташи Малиновской принимал парад на коне, а Клавке Гречке физик упорно отказывался ставить тройку вместо двойки, и его выгнали с работы. Малиновский и Гречко были мясной породы и внимания сестер не привлекали; им больше нравился сухомордый маршал Иван Конев с лысой, как у Юла Бриннера, башкой, женатый на молодой красавице в каракулевой шубе, на шпильках.

До конца школы Лёля неудержимо росла. И с ужасом думала: что будет дальше?.. На отметке метр семьдесят три она твердо решила самоубиться, но боялась огорчить родителей. И отказалась на физкультуре прыгать через козла: длинная, худая, ноги врозь — фу!.. Замаячила двойка в году. Помог толстый одноклассник, еврей-гений-математик. Его водила в школу няня, у него до девятого класса были варежки на резинках. Он, тряся жирами, набегал на черного козла с коричневыми заплатами, валил его с ног и сам первый смеялся. Физрук плюнул на него, заодно и на Лёлю.

Еще сестер донимала непоправимая картавость из-за недоразвитого таинственного язычка в глубине горла. Вызов к доске вгонял в ступор: они лихорадочно подбирали слова без “эр”, которые у доски исчезали из русского языка. И если бы не книги, они бы возненавидели школу оконча-



*Бернард Лауэр со старшим сыном Генрихом.
Варшава, ок. 1916 г.*

тельно. Нюра развлекалась тем, что “одевала” картонных барышень в авангардные наряды собственной придумки. А Лёля с удовольствием “меняла” пол гениям в учебниках: Аврааму Линкольну, Фарадею, Бойлю с Мариоттом. Еще сестры вели скорбный список: Джон Кеннеди, Урбанский, Цыбульский...

Наконец Лёля изрослась. Одно страдание долой! А с картавостью можно жить, если не болтать. Начались походы. Девочки несли в рюкзаках продукты, а физрук с ребятами — портвейн. У костра под гитару на английском пел битлов Юра Милославский, Князь, единственный на всю школу легальный бородач: разрешение на бороду — для прикрытия прыщей — ему дал директор за взрослый ум. Мальчики ловили рыбу, физрук учил их играть вместо хулиганской “сики” в степенный покер. Портвейн Лёле не понравился, но понравилась свобода, которую он приносил. Князь убеждал Лёлю, что на свете не может быть справедливости: один больной, другой здоровый, один умный, другой дурак. Заявил, что скоро свалит в Америку: в этом коммунальном болоте клёво не будет.

Нюра кончила школу на год раньше Лёли и ждала ее, хотя учительница литературы настаивала не тратить зря время — идти в Текстильный на дизайнера.

Отец устроил Нюру в лабораторию Мосэнерго “электромонтером 4-го разряда”. Пока в пузатой колбе варилась смесь трансформаторного масла с водой, она читала. Потом забытая колба начинала плевать раскаленной бурдой. Подойти к плитке — выключить — было невозможно. От варева Нюру отстранили. Но она будто искала себе погибель и почти нашла: дотронулась до рубильника не там,

где надо. Ее не убило — отбросило к стене. Из уважения к отцу ее не выгнали, кроме того, она по-женски нравилась завлабу — короткостриженная, под Лёлю, в черном самовязаном свитере — похожая на Гамлета.

На славянское отделение филфака сестры не добрали балла, их взяли на русское, вечернее. А днем на почте они паковали корреспонденцию — на полставки. Работу делали за час, потом маялись.

— Ой, девки, сколько наклали! — восхищалась начальница. — Вам бы на сдельщину.

Они впервые всерьез пошли по магазинам, до этого их обшивала-обвязывала Ида. И тут выявился скрытый талант Нюры. Она не копалась в вещах — даже в пустых советских магазинах безошибочно находила то, что нужно, как будто заранее все отложила. Различие сестер нарастало. Лёле хотелось быть проще, подстроиться, нравиться: родителям, подругам, начальству... А Нюра перла вперед без оглядки, подталкиваемая своенравием. Лёле хотелось выжить, а Нюре — жить. Но, на их печаль, у обеих были атрофированы зависть и честолюбие. Да плюс — лень вездесущая, постыдная, с которой неуклонно боролась Ида: “Ленивый — пропащий”. Но в общем-то сестер губила не лень — созерцательность.

Первые курсы были тяжелые: латынь, старославянский, километровые списки по литературе... Кроме того, треть усилий тратилась вхолостую: история КПСС, политэкономия, диамат... Сестры не умели и боялись пользоваться шпаргалками и долбили все подряд добросовестно.

На четвертом курсе у них от учебы закипели мозги, казалось, шевелятся волосы. Ушлые однокурсницы сбросили скорость и кинулись, как потерпевшие, замуж и ро-

жать — беременность упрощала учебу. И — креститься, чтоб хоть как-то насолить советской власти. Отличница Инка от страха одиночества тоже сдуру, второпях, вышла замуж и родила.

Ида мечтала, чтобы дочери обратились в ее лютеранскую веру и родили маленьких детей, можно даже без мужа, можно даже негритенка. Сестры же не хотели ни замуж, ни детей — хотели любви. Но на филфаке все ребята были недоделанные, малохольные... Сестры малодушно прикидывали, не бросить ли университет?

Помогла сокурсница. Она уже работала в издательстве “Советский писатель” и замолвила за них слово. Сестер пригласил на переговоры Гарольд Регистан, завредакцией, сын знаменитого Эль-Регистана, сочинившего гимн страны, и сам автор популярных песен: “Я встретил девушку, полумесяцем бровь...” и “Голубые города”, которые иногда сняты людям.

В условленный час они поднялись на десятый этаж знаменитого дома Нирнзее в Гнездниковском переулке, который занимало издательство. Роскошный легкокрылый Гарольд обставил встречу театрально: подвел к огромному до пола окну со старинными бронзовыми шпингалетами, распахнул как дверь... Под ноги стелилась плоская крыша, уходящая в небо... По крыше расхаживали жирные нахальные сизари вперемежку с залетными расфуфыренными красавцами — дутышами, турманами. Голуби щекотно задевали голые ноги. Внизу была сказочная панорама: Кремль, бульвары, монастырь...

На смотрины к директору издательства Гарольд велел одеться неброско и не краситься, но сестры решили по-своему.

— Кончаєте филфак? Замечательно, — сказал директор Лесючевский, пожилой, лысый, с брежневскими бровями, в потертом черном костюме. — Близнецы? Прекрасно.

— Мы двойняшки, — с нажимом уточнила Лёля.

Лесючевский поколотил короткими пальцами по столу, ткнул селектор: “Местком ко мне” — и сказал вошедшему настороженному мужчине:

— У нас одно место. Нужно два.

— Мест н-нет, — заикаясь, пробормотал “местком”.

— Найдите. Нельзя разлучать.

Ньюру определили секретарем в редакцию поэзии народов СССР к Гарольду, а Лёлю — в экспедицию на антресолях, где она в паре с уходящей, но еще не ушедшей в декрет сотрудницей штамповала конверты.

Внизу, под антресолями, курили художники, оформители книг. Лестница была крутая, и Лёля, взбираясь наверх, прижимала юбку.

В издательство приходили живые классики: Катаев, Леонов, Симонов... И неизвестные, но легендарные: “сиделец” Юрий Домбровский, перед которым все благоговели, всклокоченный, с насморчным носом, никогда не снимавший пальто, синеглазый поэт-фронтовик Исаак Борисов в свитере с высоким воротом, игнорирующий свою пронзительную красоту.

Однажды в издательство забрел мосластый бесноватый Глазков. Он влез к Лёле на антресоли: “Дай самописку. Как зовут?” И, стоя, не задумываясь, написал ей акrostих:

Лёля — дива, я бы.. мне бы, —

Ёлки-палки, Боже мой! —

Лётом ввысь (высоко в небо),
Если б вы туда со мной..

Через полгода ее перевели в редакцию русской прозы секретарем. Заместителем заведующей был худой седой красавец с трубкой, в дымчатых, как у Цыбульского, очках, кавказец.

— Лёля, — привычно объяснил он, — если к телефону будут звать Федора Колунцева, Федора Ависовича, Тадеоса Ависовича, Бархударяна, Тодика, Федю — это все я.

А в редакции Ньюры завелся практикант, молчаливый блондин античной лепки в джон-ленноновских очках. У Ньюры сжалось сердце. Он носил голубые безупречные рубашки, прохладные на ощупь, и светлые джинсы. Пошел ее проводить. Говорили о литературе. Спустились к Москве-реке. Ньюра лихорадочно прикидывала: Кремлевская стена кончается, вот уже Каменный мост, неужели ничего не будет?.. У зеленой деревянной сторожки они поцеловались..

Потом — два бесконечных выходных дня. А в понедельник целовались на крыше за развешанными на веревках простынями, пока их не погнала дежурная по крыше — старуха, похожая на Жана Габена: “Пошли отсюда!.. Блядство развели!”

К утрате девичества Ньюра подготовилась капитально. Закупила алкоголь. Приготовила пластинку Хампердинка. Сняла со стены фотопортрет строгого Маяковского на стуле, с папиросой, работы Родченко..

Потом уехала на море с тяжелыми мыслями: он на два года моложе, к тому же прочно женат, а она — старая дура, топорная в любви.



*Елена Маврикиевна Лауэр —
бабушка Нюры и Лёли.*

К возвращению дочери Ида, вовлеченная в суть событий, сшила Нюре новое платье по шиколотку из двух разных тканей: верх — мелкий горох, низ — крупный. Платье было вне времени, вне моды. Плюс бусы, загар...

У театра Пушкина за двадцать метров до стыковки у обоих отказали ноги. Медленно сошлись, как на дуэли, и молча ткнулись друг в друга. А потом пошла кочевая жизнь, случайные квартиры... “Бесприютные дети ночей” — как точно”, — думала Нюра.

Она растворилась в любви, прогуливала работу, ничего не видела вокруг, странно, что не попала под машину. Была подавлена первородным ужасом своего чувства — что с ним делать?

Любовь на время разлучила сестер.

Лесючевский приказал не кормить голубей. Безродные сизари улетели, а избалованные белые красавцы, забыв дорогу в отчий дом, не знали, что им делать, бродили по крыше, попискивая, — растерянные.

Через два года роман Нюры уперся в тупик и увял. Нюра попыталась уйти в сторону, но с удивлением обнаружила, что уйти от НЕГО почему-то не может. Спустя двадцать лет, увидев его, подняла воротник и прошла мимо. Боялась, что, если он ее окликнет, начнется все снова. Когда узнала, что он умер, испытала странное облегчение. Но была благодарна, что впервые все произошло именно с ним.

А Лёля для своего раскрепощения призвала еврей-журналиугу, на полголовы ниже себя, женатого на цыганке. Дала подругам расписку, что вернется другой.

Свидание состоялось у него дома, в келье бывшей монастырской богадельни. Цыганка была в командировке.

Журналюга по ходу дела набрался, закуражился: спрятал Лёлину юбку, врубил джаз. Застучали соседи, нагрянули менты.

— Отдайте юбку... — твердила Лёля, сгорая от стыда.

— Отдай, — мирно, по-свойски, посоветовал милиционер.

Журналюга послушался, но возжелал жениться на Лёле. Наткнувшись на отказ, невесело и трезво усмехнулся:

— Мавр сделал свое дело, мавр может уходить?

— Вот именно, — согласилась Лёля.

На первых порах журналюга по инерции еще клеился. Повел ее к друзьям, тоже евреям, отказникам, и те, бесстрашные, хмельные, устроили ей экзамен “на Сталина”. Ей?.. Про Ста-алина?.. Лёля молча встала и вышла из квартиры — и из уже точно не задавшегося романа.

Но на бобах не осталась. На перехват метнулся седой зам в дымчатых очках, с трубкой...

Единовластный правитель “Советского писателя” Николай Васильевич Лесючевский — сталинский сокол, Малюта Скуратов — всех женщин, включая уборщиц, принимал на работу самолично. Некрасивых не брал. При нем жизнь в коридорах замирала — женщины боялись выйти даже в туалет. По слухам, он поколачивал свою пожилую секретаршу.

Среди его конкретных жертв числились Борис Корнилов, Ольга Берггольц, Николай Заболоцкий — доносы Лесючевского на них всплыли в “оттепель”. Тогда же его попытались снять. В издательстве прошло собрание-судилище, все было на мази, но Лесючевский за ночь пе-

ревернул ситуацию. Наутро закоперщики были уволены с волчьим билетом.

Жил он один в Резервном переулке в огромной неуклюжей квартире. Жил скромно, казны не скопил, дензнаки его не занимали, он владел большим — главным издательством страны. Были у него и дети, они не светились, возникли только на похоронах, понурые, зашуганные.

Лесючевский с закрытыми глазами знал портфели всех редакций, графики прохождения рукописей, биографии сотрудников — все до мелочей. Альфой же и омегой издательского дела считал РЕДАКТОРА. Все прочие службы — бухгалтерию, плановый отдел, производственный — ставил ниже. Редактор имел сногшибательные предпочтения. Во-первых, два присутственных полудня в неделю. Во-вторых, редактор мог встречаться с автором даже в ресторане ЦДЛа в рабочее время. И наконец, приоритетность редакторства была намертво вкручена Лесючевским в сознание трудового коллектива: грызни — по этому поводу — среди сотрудников не было.

Но горе редактору, если он сбивался с лыжни! Нерадивость в редакционном процессе каралась по неизменному ритуалу. Хозяин ласково пытал жертву под наркозом возможного милосердия, пытаемый размякал, затем на несчастного обрушивался ор, от которого стыла кровь и дрожали стены, и в итоге изгон — в хлябь, в пургу — на вымирание...

План издательства был забит секретарской литературой. Бешеные тиражи начальников прямиком из типографии, минуя магазины, шли под нож, на переплавку, чтобы в следующем году принести создателям свежий барыш. Когда случалась опечатка или просто запарка, редакторов ско-

пом гнали в типографию вклеивать вставки на последнюю страницу или одевать книги в супера. В типографии Ньюра с Лёлей слышали гул производства: лязг металла, мерные удары печатных машин... Про это они только читали — у Андрея Платонова.

Но даже Лесючевскому приходилось наступать на горло собственной песне. В тематических планах издательства всегда присутствовал — как еврейская процентная норма в гимназиях — ограниченный контингент сомнительных авторов: Аксенов, Тендряков, Трифонов... Когда пришла пора издавать Пастернака, Ахматову, Мандельштама, Лесючевский во всеуслышание заявил на собрании: “Издаем врагов...”

Как-то в редакцию спиной вдвинулся человек в кожаной куртке, продолжая говорить в коридор. Лёля глазам не поверила: Шукшин! Он был как в кино, сосредоточенный, “деревенский” — феноменальный. До этого он присутствовал в редакции лишь в виде затертой исписанной карточки в редакционном портфеле. Роман “Я пришел дать вам волю” так и не вышел при его жизни

— Здгавствуйте, — пробормотала Лёля, растерявшись.

Вскоре позвонили — с нахрапом: “У вас должен быть Шукшин, позовите”.

Лёля постучала в кабинет начальства: “Вас к телефону”, без обращения, потому что в отчестве Шукшина торчала кость — корявая “эр”.

Шукшин взял трубку, выслушал, морщась.

— Не тяни резину. Ты, главное, ехай. Ехай по-быстрому. — И улыбнулся Лёле знаменитыми скулами. — Спасибо.

А служебный роман с начальником разгорался. Лёле нравилось в нем все: его поколение, биография, худые прямые плечи, как он балует свою трубку — чистит, ковыряет, топчет крохотным пестиком. Его любили даже самые свирепые, одинокие тетки. И байки его были удивительными: в школе его погладил по голове Берия, а Булата не погладил. Окуджава был его одноклассник, товарищ. У Феде были все его записи — домашние, застольные: “Женщины-соседки, бросьте стирку и шитье. Живите, словно заново, все начинайте снова...” Дворянской крови армянин из Тбилиси, он был не очень известным писателем, но писал хорошо — неброско, точно, коротко. Лёле очень понравился его последний рассказ — “Английский инструментальный молоток”. Она влюбилась.

А его умиляли в Лёле картавость, нерусскость, сдержанность, рост, неучастие в издательских интригах. Он любовался издали, как, отрешаясь от редакционной суеты, она, уткнувшись в словари (писала диплом), пальцами обеих рук машинально скручивает в тугие трубочки ненужные бумажки — фантики от конфет, использованные проездные билеты... Все это он отслеживал сквозь дымчатую поволоку очков, которые носил и для зрения, и для сокрытия периодического похмелья, о котором Лёля пока не знала. Как-то они сидели на бульваре, почему-то Федя курил не трубку — сигарету. Он сказал, что у нее молодые волосы, что у них мог бы быть замечательный сын... Огонек упал на ее стеганое новое пальто, которое купила Ида, — прожег дырку. Лёля прикрыла дырку рукой, ей почему-то стало жалко Иду. Но дело, конечно, было не в пальто — дыра образовалась в ее жизни.



*Могила Бернарда Лауэра в Варшаве.
Похоронен в 1918 г.*

И вдруг возник Лесючевский! В день рождения Лёли он, шурша бровями, влетел в редакцию с плиткой шоколада “Гвардейский”. И заорал на заведующую с косыми глазами: — Почему она на работе?! У нее сегодня девичник. Домой!

Скоро Лёлю повысили из секретарей в младшие редакторы. На горизонте мигнуло полноценное редакторство. Мигнуло и погасло: Лесючевский младших редакторов не поднимал. Это был его принцип. Младшие старились на своем месте и выходили на пенсию тем же чином.

Однако Федя обнадежил ее и дал тайком, незаконно, на пробу написать редакционное заключение на графоманскую рукопись, потом еще и еще...

Он сидел в одном кабинете с заведующей, писал вежливые отказы склочным авторам — самое сложное в редакторском деле. И вдруг резко на полуслове-полубукве клал ручку, брал трубку и выходил отдышаться. Но покурить ему толком не удавалось. В коридор высовывалось косоглазое лицо заведующей: “Федя! Письма!”

Лёля думала только о нем, все отошло на второй план. Когда начинался запой, он предупреждал ее: “Если умру при тебе, немедленно уходи”.

Сестры поменялись ролями. Лёля жила, а Нюра тоскливо ждала перемен. Лёля почему-то надеялась на лучшее и не хотела идти домой, зная, что там ее ждет горестный лик сестры.

Умер отец, и следом за ним бабушка. Сестры отправили Иду в Дом творчества под Москвой, откуда вскоре пришло письмо с привычным акцентом.

Дорогие мои дети! Решила написать, хотя ничего особого пока нет. Любуюсь кошками. Они очень капризные.

За столом сижу с писателями — узбеками, такие маленькие, только чай очень сильно мешают, как глухие. Если они не скоро уедут, я им об этом скажу. Вы очень понравились узбекам и женщинам. Узбекам я не доверяю, им нравятся все русские девушки, а женщины сказали, что вы очень интересные, воспитанные, женственные, хотя вы и не любите этого слова. Я тоже думаю так. Но было бы лучше, если бы вы не морщились, были более подвижными и не курили папиросы...

“Сигареты” в Идином лексиконе так и не прижились.

После смерти отца семейный бюджет стал пускать пузыри. Оказалось, все тянул он. Сестры, занятые учебой, работой, романами, не очень об этом задумывались. В последние годы они с отцом вообще мало общались. Причина: обида за мать, от которой отец уходил на год к другой женщине. И его биографией особо не интересовались, знали, что отец отца, их дед, расстрелян. Остался снимок: их прадед, банкир Бернард Лауэр, буржуй с сигарой, рядом стильная красотка прабабка и будущий дед, франтоватый школяр, залетевший из Сорбонны домой на вакации, — возле своего современного дома на Аллее Руж в Варшаве. Второй сын и дочь, будущая мать Янека, на фото не попали. Бернард, убоясь увлечения детей марксизмом, разбросал их по разным университетам: Сорбонна, Цюрих, Берлин... Но зараза оказалась сильнее его предусмотрительности. Выучившись, дети вернулись в Польшу; за свои пристрастия загремели в тюрьму, откуда в начале 20-х по обмену заключенными оказались в новой России, где им и пришел конец в 37-м.

На тридцатилетие Победы в издательстве намечалась пьянка. Федя позвал Окуджаву. Сотрудники привели детей и даже внуков — на память. Лёля с Нюрой помогали готовить столы. С нетерпением — когда же конец говорить? — всунулись в актовый зал и обмерли: в президиуме сидели обвешанные наградами носатые ветераны — одни евреи!.. Местные и пришлые — сотрудники еврейского журнала “Советише Геймланд”, приписанного к “Совпису”, к скрытой ненависти патриотического крыла издательства.

Русские ветераны в президиуме — Зеленин и Капустин — неприметно сидели по бокам. Распухший Зеленин еще не отошел от вчерашнего нападения Мариэтты Шагинян. Крохотная орденоносная старуха битый час не шла на редакторские уговоры. Зеленин орал ей требования в тугое ухо, оборудованное слуховым аппаратом, но безрезультатно. “Не надо повышать на меня голос, — ровно говорила Мариэтта Сергеевна, — я вас прекрасно слышу”. И подвела черту: “А вот теперь я прекращаю разговор, я выключаю аппарат”. Зеленин с багровым лицом, колотя воздух руками, пытался вдогонку дообъясниться, но Мариэтта Сергеевна была уже вне досягаемости. А Капустин, тот самый “местком”-заика, который при поступлении Нюры с Лёлей сказал: “Мест нет”, с нетерпением поглядывал на часы: его ждал друг Лео Кошут, директор берлинского издательства-побратима “Фольк унд Вельт”, тоже ветеран, но с другой стороны. Под Лугой Кошут с Капустинным стреляли друг в друга.

В конце собрания Лесючевский с трибуны поздравил сестер с получением диплома.

А на следующий день вызвал Лёлю:

— Что у вас с жилищным вопросом?

— У нас...

— Трехкомнатная квартира, — перебил ее директор. — Малогабаритная. Первый этаж. Низко. Вас трое: мать, сестра. Тесно. Вам нужна жилплощадь. Идите работать. — Но остановил ее на пороге. — И запомните: с любым вопросом можете обращаться ко мне лично, напрямую, без секретаря. Даже если у меня в кабинете Верченко или Сартаков.

На неверных ногах Лёля вышла из кабинета. Радости не было, был страх, липкий, неосознанный...

И Лесючевский дал ей необязательную комнату! В истории “Совписа” такого еще не было. По издательству пополз нехороший слух. Ночью Лёле позвонила начальница: “В такси — и быстро ко мне”.

— Сядь. Села?.. Лесюк, кажется, хочет на тебе жениться.

Лёлю охватил ужас. Осознанный.

А вскорости Лесючевскому донесли про ее служебный роман.

Он вызвал ее, был мил, интересовался жизнью на новом месте. У Лёли заныл живот...

— ...Вы должны нам помочь, — проникновенно сказал Лесючевский. — У нас отстает редакция прозы народов. Нужно ее подтянуть. Вы переводитесь туда. Расширите свой диапазон. Вам будет полезно.

Это был конец!.. Ее ссылали на скотный двор, на галеры — в самую безнадежную редакцию. Лёля держала глаза, чтобы не заплакать.

Она метнулась к Нюре. Отлаженная Гарольдом как часы редакция поэзии народов делила одну комнату с русской поэзией, которой рулил Егор Исаев, лауреат, автор

барабанных поэм — человек заполошный, непредсказуемый. И если дрессированные утонченным, но строгим Гарольдом поэты-нацмены вели себя сдержанно, то русские, в основном патриоты, без устали читали свои стихи — надрывно, со слезой... Вспыхивали драки. К вечеру истомленный Егор уже не дергал романтично башкой, забрасывая сивый чуб на место, лишь вяло отфыркивался, краем рта сдувая с лица непрошеную “маяковскую” прядь.

В редакции гремели стихи. Нюры не было. Она в библиографии, сказал Гарольд. Лёля ему не понравилась, он пошел за ней, прихватив портфель.

В библиографии царил привычный покой. Нюра рылась в картотеке. Чуть слышно пел саксофон в приемнике с зеленым глазом. На подоконнике среди кактусов шумно вздохнула во сне нелегальная Мурка, которую хотел извести завхоз. Старший редактор Миша Фадеев уютно дремал в глубоком кресле.

Нюра приложила палец к губам: тс-с... Но Миша вдруг очнулся, решительно встал: “Все. Пошел к папе”. И привычно отправился в Центральный Дом литераторов имени своего отца Александра Фадеева.

— Что случилось? — спросил Гарольд, выуживая из портфеля коньяк. — Донесли?

С Лесючевским Лёля перестала здороваться — пусть хоть совсем выгонит, плевать. И Нюра — из солидарности.

Гарольд, ангел небесный, встревожился не на шутку и срочно перекинул Нюру в издательство “Детская лите-

ратура”, где его жена курировала иностранную редакцию. А Лёле уверенно сказал: “Лесюк не вечен, работай спокойно”.

В “Детской литературе” служили в основном пожилые тетки советского толка, не прошедшие селекцию Лесючевского. И зимой и летом они кутались в шали на случай возможных сквозняков. Одна из них по брезгливости открывала дверь бумажкой, подкладывала под себя газету. Редкие мужчины “Детгиза” тоже не оправдывали своей предназначенности. Единственный заметный мужчина — главный художник — был нетрадиционной ориентации. “Мужчинами” Ньюры стали Мольер, Лорка, Хименес... И примыкающие к ним здравствующие переводчики и художники — лучшие из лучших.

На новом месте Лёля первым делом вызубрила имена национальных авторов. Тяжелее всего давались среднеазиаты: их многосоставные отчества и фамилии были изначально сложнопроизносимые, а без “эр” звучали и вовсе как абракадабра. Но азиаты были тихие, без гонора, счастливые уже тем, что издаются в Москве.

А вот с любовью дела пошли хуже некуда. Как-то Лёля неучтенно позвонила Феде, нарвалась на жену. Говорил он не своим голосом и не то, что нужно. Лёля догадалась: боится. И не жены — Лесюка!

Роман скукожился. И теперь они с Ньюрой сравнялись, как в былые времена, — гармоничная невеселая пара, не разнообразные двойняшки, а снова симметричные близнецы.

— Хогошо бы быстрее постагеть, — задумчиво сказала как-то Ньюра. — Чтобы уже больше ничего не хотелось.

— Ну да, — невесело усмехнулась Лёля. — “Ты напейся воды холодной — и про любовь забудешь”.

А застойная жизнь за окном по-прежнему звучала уныло — сплошное моно, а так хотелось многозвучия!..

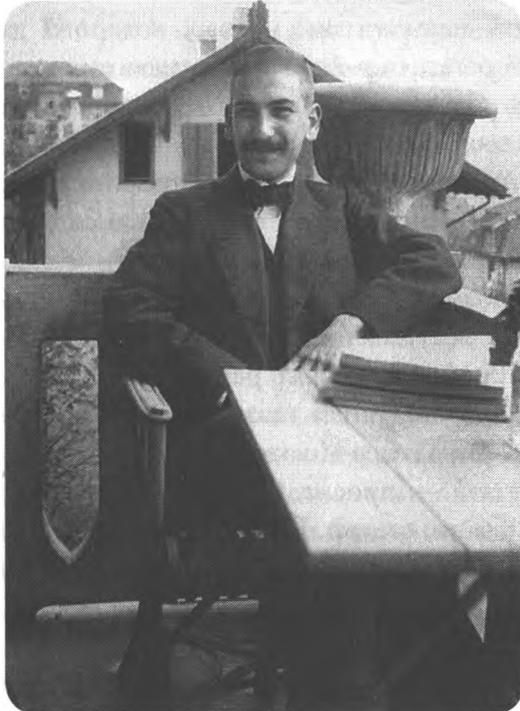
Бездетный неукротимый Сэвер, которого даже Освенцим не обратал, был богатым архитектором и вызвал племянниц в Польшу. Им долго не давали визу. Сэвер устроил племянницам “римские каникулы”. Приискал легких галантных кавалеров, кандидатов в женихи, выдал им машину и денег... Сестры разговорились по-польски, забыли про Москву и комплексы. Отношения с ребятами были почти воздушными, ни к чему не обязывающими, но и никуда не ведущими. Все происходящее напоминало сказку, за которой угадывалась режиссерская рука Сэвера. Нюра привычно повернула глаза зрачками внутрь — по-мрачнела, засобиралась в Москву.

— Оставайтесь! — просил Сэвер. — Оставайтесь, пока я жив! Я все для вас сделаю. Пусть хоть одна останется.

— Пусть Лёлька и остается, — упрямо бубнила Нюра, пакуя чемодан.

А Лёля задумалась: почему бы и нет?

В Варшаве Лёлю взяла в оборот сестра предполагаемого жениха с тяжелым именем Гражина, сказав, что теперь она на правах золовки будет “формировать ее гардероб”. А сам жених вдруг заявил, что ему срочно нужен новый статусный автомобиль — он идет на повышение. Всплыли неожиданные подробности. Жених-юрист оказался членом партии и всерьез проявлял озабоченность, как бы Лёля не стала ему помехой в карьере. Какой уж там муж — упаси Господи! На мосту через Вислу колючий сырой ветер вчистую выдул из нее остатки наваждения.



*Генрих Бернардович Лауэр —
дедушка Нюры и Лёли.*

В очередную зарплату на сходняк в библиографии “Совписа” собрался “Ламбрекен”, женский орден, учрежденный шумной экстравагантной красавицей Соней, хударедом “Советише Геймланд”.

— Фу! — Соня рухнула в кресло, обмахиваясь газетой. — Не могу — евреи одолели. — В дальнем кресле вздохнул в полусне Миша Фадеев. — Мишенька, подъем! Пора к папе. У нас большой курултай.

Сестры доложили о матримониальных планах своего польского дядюшки.

— Зачем вам только Бог авансы выдает!.. Телкам комолым!.. — Соня в сердцах смахнула сонную Мурку, загордившую на письменном столе электрочайник.

— Ты что, Соня! — вскрикнула Лёля.

Нюра подобрала с пола ошалелую Мурку.

— Не бойся Соню, Соня хого-ошая..

— Так и будете с кошарами своими мудохаться до морковкина заговенья! — гремела Соня. — Я вас на субботу старше, а у меня все в комплекте: и муж, и любовник, и дети. А у вас хрен да манишка да записная книжка. — Соня изящной рукой в крупных кольцах поправила на груди три пары очков — для улицы, чтения и темные, — резко встала. — Все. Шолом. Надоели. Ду-уры!

— А помада? — затормозила ее Лёля. — Ты помаду заказывала.

— Неужели привезли? — Соня уселась по новой, виновато потянулась к Мурке. — У нас тоже кошка серая, как варежка, а мать рыжая-рыжая.

Находчивая Соня за свою красоту и красоту “Ламбрекена” боролась истово. Выковыривала из родных гнезд остатки дефицитной помады, в столовой ложке

варила, перемешивала и заливала в прежние пустые патроны.

— По помаде видно, как быстро летит время, — задумчиво сказала Нюра.

— Спиноза, — хмыкнула Соня.

— Ой, девочки!.. — перебирая косметику, бормотала библиотекаряша Валя Тё, кореянка, фарфоровая статуэтка. Библиотека с ее приходом ломилась от художников. Они часами пилились на Валечку, но безрезультатно — она была прочным восточным динамо. Эфемерность ее была запредельной — в паспорте у нее не было даже отчества.

— Ничего нет хуже вчерашней моды, — заявила Соня, пробуя разные помады на обеих губах. — Все равно — дуры. Особенно — Нюрка.

— Не скажи... — заступилась за Нюру строгая красавица Валя-большая, заведующая библиотекой, мастер спорта по фехтованию. И добавила: — “Зато Гек умел петь”.

У Вали был муж художник, пожилой культурист с переполненной биографией: довоевался разведчиком до Берлина, но домой вернулся через лагерь — за драку с пьяным капитаном СМЕРШа.

— Как думаете, девки... — Соня любовалась в зеркале разноцветными губами, — удобно у Мишки Фадеева спросить, что все-таки там было с его папенькой... перед выстрелом?..

В библиографию заскочила недавно вышедшая замуж роскошная полная блондинка из бухгалтерии — покурить. И пожаловалась: семейная жизнь — интимная — очень тяжела: муж ищет у нее эротическую точку.

— Нашел? — как бы незаинтересованно поинтересовалась Соня.

— Ищет, — вздохнула блондинка.

— Найдет, — уверенно поддержала ее Валя-большая, пресекая Соню, которая уже плотоядно распахнула на свою жертву великолепную белоснежную пасть.

И тут вернулся Миша Фадеев: умер Высоцкий!

В “Детгизе” Нюру попытались вербануть в КГБ. Она испугалась. Но на удивление легко отбрыхалась. Она не комсомолка, не член партии, необщительна по природе. Кроме того, у нее испанские курсы без отрыва от производства — приказ начальства.

По сообщающимся сосудам удача сестры перетекла к Лёле — умер Лесючевский.

Издательство хоронило его полным составом без поноукания — все хотели убедиться, что его действительно больше нет. Лёля на похороны не пошла.

Вскорости главный редактор, хмурая партийная дама, слепая сова в толстых очках, вызвала Лёлю ознакомиться с приказом: ее возвращали в родную редакцию — редактором!

А Нюра погрязла в испанских курсах — три года — вечность. Учиться абы как она не умела и мерно тянула воз. Но подошел отпуск, Пицунда, Дом творчества, море... Важные крупные литые бакланы, крича истерическим женским голосом, при взлете поджимали лапы к белоснежным животам-фезюляжам, как будто убирали шасси...

...Как-то на пляже Нюра выбирала пемзу для пяток, мурлыкала любимый мотив, как всегда, перевирая.

— “Но зато Гек умел петь?” — спросил за спиной веселый голос.

Нюра медленно обернулась: невысокий дядька в седых кудрях.

— У Коли Рыбникова лучше получалось. “Когда-а весна придет, не знаю, пройдут дожди, сойду-ут снега-а...”

Он жил рядом, в Доме кинематографистов, пригласил ее вечером в бар. Нюре не очень понравилась его торопливость, но что-то удержало отказать — уж очень неприятно он кадрился. По соседству под зонтом киношная тетка напористо убеждала товарку:

— Костя Райкин потускнел, это очевидно. Он играет результат.

Дядька пошел к морю, а напористая тетя сделала Нюре выговор:

— Вы хоть знаете, кто это?! Разговариваете с ним как со своим садовником! — И назвала фамилию сценариста знаменитого фильма прошлых лет.

Уаживания сценариста в Пицунде не увенчались успехом, и он легко нашел Нюре замену. А в Москве вдруг позвонил ей на работу:

— Что делаете, читаете рукопись?.. А я налил рюмочку, ледяную, и сейчас выпью за ваше здоровье.

Он не звал ее, не нудил, не канючил. Нюре захотелось оказаться рядом с ним, прямо сейчас, немедленно. Так вскоре и случилось...

Феликс был детдомовец, харьковчанин, еврей, фронтовик, остроумец... Ни до, ни после такого легкого, праздничного, свободного общения у Нюры не было. Он называл ее Жюльеном Сорелем. Угощал диковинными миниатюрными сигарами с мундштуком, водил на премьеры в Дом кино. Многому научил. Например, никогда не отстаивать свою независимость по пуста-

кам, только по-крупному. Но любви не было. Нюре хватило бы и дружбы, но... Она терпела, пока могла, потом расстались. Без обид...

И вдруг время стронулось с места. Отменили цензуру. Страшную комнатенку Главлита в "Совписе" возле уборной — пыталную избу — опечатали, цензоры побрели с вещами на выход.

Хлынули запрещенные книги. "Совпис" в одночасье разбогател. Лёлин оклад рос день ото дня и достиг генеральского. Руководство рехнулось: с утра до ночи сотрудникам выдавали на халяву телевизоры, видеомагнитофоны, одинаковые женские пальто, обувь, махровые китайские простыни с павлинами, мед в розлив... Как-то без предупреждения прикатила цистерна с американским спиртом, все сбились с ног в поисках тары, но тут начальство очухалось — алкоголь завернули.

— Дугдом! — сказала Нюра. — А мы так и не знаем, где могила дедушки. И знать не хотим, сволочи.

В приемную ФСБ сестры пришли подготовившись. Сдали прошение под расписку, в то время как других, плохо одетых провинциалов, направляли к облупленному фанерному ящику "Для заявлений". Сестрам придали тетку-куратора с петельчатым ртом.

В архиве они просидели полгода. Первоначального доброжелательства след простыл — каждый документ про расстрелянного деда выдавали со скрипом. Их охватил спортивный азарт.

Они переписывали страшное дело в две руки, потом стали фотографировать. Петельчатая тетка-куратор выпучилась и бросилась отнимать фотоаппарат, но не тут-то было. Лёля достала заготовленные дома болванки жалоб и паркеровскую ручку с золотым пером, подарок Сэвера, небрежно повернулась к Нюре:

— Ты — министр, я — пгемьегу. — И ласково посмотрела тете в набрякшие глаза. — По зову сегдца здесь тгудитесь?..

Соня, увидав фотографии деда — замученного небритого старика сорока шести лет, — промокнула слезы под очками:

— Дедушка, наверное, вас очень любил?..

“Ламбрекен” замер.

— Соня, у тебя как с головой? — задумчиво спросила Лёля, сбрызгивая пепел с сигареты.

— Да-а, — образумилась Соня и задушевно пропела: — “Голова-а ты моя-я хуже жо-опы. Хуже жопы моя голова..”

В архиве дело шло к концу. Самой последней была подклеена бумажка от руки, с ошибками:

Акт. 22 августа 1937 г.

Пятдесят два трупа нами приняты и зарыты в яме. Комендант Н. К. В. Д. п. нач. перв. отд.. (неразб.)

Дед в приложении к акту шел под номером 22 — “Генрих Лауэр”.

От Янека с Синих гор пришло письмо.

Милые девочки!.. Очень хочется повидаться с вами. К сожалению, это невозможно по многим причинам. Главная: я старый, старый как черт... Мне будет восемьдесят...

Сестры вспомнили, что не видели дядю пятнадцать лет, выкупили купе целиком и ночью по первому снегу умчались на край света.

Когда поезд тронулся, из репродуктора грянуло “Летят перелетные птицы...”. Но вдруг вместо ненужных Турции и Африки они впервые услышали: “...ушедшее лето искать”. Стало тоскливо.

Трое суток знакомились с родиной. За Уралом жизнь прекратилась, началась тайга — страшная, безнадежная, бесконечная. Нижние лапы доисторических елей, зарываясь в снег, подползали к железнодорожной насыпи, принимая ее за узкоколейку и стараясь захватить. Страна была необитаемая. Сплошная тайга и реки, похожие на обледенелые моря. Чем дальше забирался поезд вглубь, тем напряженнее становилась жизнь в вагоне. После Тюмени проводницы стали подсаживать нелегалов, которые рвались в их полусвободное купе. Сестры тряслись от страха, но дверь, замкнутую изнутри ручкой подстаканника, не открывали. Из коридора пьяный мат сулил смерть. Сестры не сдавались. Для легкой оправки они предусмотрели банки, которые выносили тишком под утро, когда пьяная колготня в вагоне истощалась. Чайная ложечка в стакане мерно позвякивала в такт колесам, как во времена Чука и Гека.

Их никто не встретил, они взяли такси.

Город был как на ниточках. Разрушающиеся балконы свисали на арматуре. В стены утыкались трубы, забранные в поддевки из жести, из прорех на стыках высовывались клочья минваты. На тротуарах лежал метровый снег с прорубленными проходами. Безжизненный черный комбинат тянулся на километры. У помойки возле магазина “Валенки” перетаптывалась очередь из нищих.

В прихожей на стуле сидел старый незнакомый Янек в лоснящемся отутюженном костюме и плакал.

— Янек, девочки приехали. — Жена Шура потеряла его за плечо. — У нас Танечку в больницу взяли, сестренку вашу, — сказала она, вытирая мужу слезы. — А мы готовились.. Янек коржики испек..

— Янек, это мы! — пытаюсь как-то разрулить ситуацию, бодро возвестила Лёля.

— Кто?.. — Янек встал, протер заплаканные глаза, качнулся. — Боже мой, девочки! — И повис на сестрах невесомым телом.

— А помыться можно? — робко обмолвилась Нюра.

Квартира была вся в книгах, многие — на немецком. На кухне Нюра заглянула в одинокую кастрюлю чуть больше сахарницы — четыре картошки.

Из крана шел кипяток.

— Воды вам холодной со вчера накопила, — сказала Шура. — А горячей — по себе добавьте..

— А что с Таней? — спросила Нюра про незнакомую “сестренку”.

Прошедшей ночью пьяный сожитель избил Таню. Утром со смены из депо пришел сын, выбил хулигану зубы и выкинул его в окно со второго этажа. Вызвал “скорую”.

“Скорая” увезла Таню и захватила сожителя, уснувшего в сугробе. Сына забрали в милицию.

— Мы ходим и в больницу и в милицию, — решительно заявила Лёля.

— Не надо в милицию! — закричал Янек.

Пустой стол выглядел неприлично. Нюра спешно стала выкладывать из сумки заветревшуюся дорожную снедь: колбасу, плавленые сырки, помятые яйца...

— Янек, ты зачем колбасу так толсто режешь? — всполошилась Шура. — Ее же не будет.

— Можно я тогда яйцо съем? — Янек съел яйцо и потянулся за вторым...

У милиции толпился народ. Лёля достала красное удостоверение “Советский писатель”, на всякий случай сказала Нюре:

— Со мной не ходи. Жди здесь.

В коридоре милиции лицом к стене стояли мужики с поднятыми руками. Стояли давно, привычно, молча. У кабинета следователя скучились плохо одетые тетки.

Лёля постучала, вошла.

— Выйдете, — не поднимая головы от письменного стола, сказал человек в тесной милицейской форме.

Лёля протянула удостоверение.

— У вас мой племянник. Бгодовский.

— А-а.. Москва-а.. — проворчал следовать. — Вы знаете, что он человека из окна выкинул? Зубы выбил..

— Человек избил его мать, — с нажимом сказала Лёля и добавила, усиливая картину: — Она в геанимации. А ее отец отсидел невинно двадцать лет. Ему сегодня восемьдесят...

Следователь продолжал писать с наклоном в другую сторону; морщась, открыл удостоверение...

— Старший редактор... Журналист, что ли?..

Привели “племянника”, худющего смурного парня с разбитыми в кровь костяшками пальцев.

— Тетка твоя приехала, — сквозь зубы процедил следователь. — Из Москвы. Скажи, спасибо.

— Зачем вы пришли, тетя Лёля? Я вас не просил.

— Поговори мне! — рявкнул следователь.

На улице к племяннику кинулись друганы, возбужденные его геройством.

— Это они всё, — кивнул он на Лёлю с Нюрой виновато, стесняясь быстрого освобождения.

— Сейчас сдадим тебя дедушке, а дальше делай, что хочешь, — твердо сказала Нюра.

— Как вы сюда только доехали? — зло усмехнулся племянник. — Это вам просто повезло — штабной вагон. Запросто могли в тайге выкинуть. Никто бы не нашел. Да и искать бы не стали...

Последний разговор с Янеком не получился. Он затянул было волюну про жуликов и негодяев, потом резко оборвал себя:

— Я сам во всем виноват, ничего не смог. Оставляю жену и детей нищими. В этой дыре... Даже Солженицына не прочитал — боялся.

Сестры вдруг поняли, что смертельно хотят домой.

Обратная дорога была бесконечная, тягучая... Что-то там, у чертовых Синих гор, случилось с сестрами. Как будто никакого прошлого у них не было, было лишь вступ-

ление к жизни, черновик. И что теперь им нужно все начинать снова...

На подъезде к Москве по вагону начали шастать вороватые картежники, вломились и к сестрам, понуждая играть.

— Вон отсюда, — вяло сказала Нюра, не отрываясь от чтения. — Достали.

Весной сестры вышли замуж.

Но это уже — со-овсем другая песня.

Иногда их тянет в Варшаву, как в молодость. Они даже собираются, но потом не едут. Варшава опустела. Сэвер на Розовой аллее — Аллее Руж — уже не живет, он давно умер. Как он там говаривал, издеваясь над племянницами: “Это вы живете в метрополии, а Варшава — маленький губернский город”.

Толмач

Моя мать, Калякина-Каледина Тамара Георгиевна, до распада Союза переводила туркменов и азербайджанцев. На перекрестке веков фильм прервался, но маму по инерции чттили, и на ее юбилей из Ашхабада пришла красная правительственная телеграмма: “Уважаемая Тамара Георгиевна, Леночка Георгиевна, Сережа Георгиевич и Калякин Георгиевич! Мир вам и благословение Всевышнего!..” “Леночка Георгиевна” и “Сережа Георгиевич” — безусловно, мы с сестрой, хотя мы в то же время и “Евгеньевичи”, ну а “Калякин Георгиевич” — стало быть, мамин второй муж Иванов Аркадий Дмитриевич, умерший двадцать лет назад.

Я спешил к маме, чтобы заделать телеграмму навечно в рамочку под стекло. По дороге заехал к жильцам, которым жена последние годы сдавала свою квартиру, — тихой, пожилой, интеллигентной чете Гафуровых: востоковеду Алимун и его жене с цыганско-гитарным именем Сурента. На них поступила жалоба от соседей: чета буянит.

На хозяйстве была одна Сура, воздушный зеленоглазый эльф, легкого, бесбытийного нрава. Мне нравились ее веселость, молодое остроумие, финансовая неунываемость и очаровательное кокетство. Но Суру настиг Альцгеймер, болезнь прогрессировала — она называла меня Юрой.

В квартире был погром: паркет выбит, мебель сдвинута, книги на полу. Буйствовал сын Тимур, феноменально способный марксист-философ. Недавно он резко сошел с ума и стал жить на два дома — родительский и сумасшедший. В последнем он сейчас и пребывал. Алим тоже оказался в больнице — от переживаний.

Растерянная Сура смотрела на меня виноватыми глазами, я молча топтался, не зная, что сказать. Сура, вдруг спохватившись, вручила мне увесистую книгу — Коран в переводе мужа, улыбнулась и заплакала.

Трехцветная кошка Соня косилась на меня злобно, как на обидчика: иди отсюда. Я вспомнил, как Алим деликатно просил меня купить ему письменный стол, а я отбрыкивался от ненужных трат. Значит, он все время работал на приступке, как Ленин в Разливе.

Коран я переподал маме. Ей было с чем сравнить: существовавшие переводы священной книги казались ей невнятными, недоделанными, а последний — стихотворный — обескуражил: “Дожили... Мухаммад заговорил как Джамбул”.

Перевод Алима мама прочитала на одном дыхании и поздравила коллегу с долгожданной удачей.

При Советах Коран полвека не издавался. В 88-м году я отыскал в Париже в “подрывном центре” при издательстве “Имка-пресс” нечитаемый экземпляр Корана, отпечатанный на слепом ротопринте и, потев от страха, пронес на груди мимо шереметьевского таможенника.

Читать тот Коран можно было только с лупой и под софитом. Я было взялся за него, ничего не понял и плюнул. Теперь же мама в приказном порядке, через мое “не хочу”, ткнула меня в Коран носом.

Алима я знал давно, но незаинтересованно: он всегда был очень вежливый, исправно платил за квартиру, чисто, без акцента изъяснялся профессорски-интеллигентским слогом, обходя, по-восточному, не только грубые, но и просто резкие слова. Невысокий, плотный, смугло-розовощекий, нестарый пожилой человек с голубой сединой — все прекрасно, но немного дистиллированно.

За переводом Корана стоял другой человек, с которым хотелось говорить. Я позвонил Алиму.

Сережа, дорогой, ты хочешь, чтобы я рассказал про свою жизнь, но рассказывать утомительно, позволь, я буду писать.

Родился я в 29-м или 30-м году в кишлаке Исписар под Ходжендом. Мой отец, по тем временам уже 44-летний старик, женился на моей маме — 15-летней девочке, двоюродной сестре, чтобы не платить калым чужим. Такие близкородственные браки у таджиков не редки, но даром не проходят: болезнь моего сына — тому подтверждение.

Родители мои происходили из рода великого персидского поэта XV века Комола. Отец был знаменитым ткачом, его ткани очень ценились в Ходженде, но с годами он стал лениться и терять заказы...

И мой прадед, Михаил Семенович Каледин был знаменитым ткацким мастером в Иваново. Лентяем, правда, не был, зато слыл легендарным самодуром.

...Мама, единственный грамотей в нашем кишлаке, работала учительницей у девочек. К ней обращались уважительно: “Биотун” — “высокочитимая госпожа”. Она была строгая, самолюбивая — я ее побаивался. Она умела лечить по-знахарски: зевотой. Гладит больного и зевает, больной тоже начинает зевать — болезнь проходит. Еще она была непревзойденной чтицей средневековых стихов. Тетки нашего кишлака, слушая ее, рыдали, а я жевал заскорузлую лепешку и злился на маму за женский вой. Я был малолеток и не понимал, что это было очищение стихами. Шел 37-й год, вокруг исчезали соседи, по Сырдарье плыли старинные книги, желтые, литографированные, с арабской вязью. Когда пришли за мамой, чтобы она больше не читала “реакционные” стихи, она успела зарыть свои книги. Ее не тронули, забрали моего партийного брата Бободжана. Брат отвертелся, со временем узнал, кто донес, и всю жизнь мстил гаду, помогая ему и его семье. В конце жизни мама стала писать стихи, ее выбрали членом Правления Союза писателей СССР...

Стоп. Что за чудеса! Мать Алима — начальный учитель в нищем кишлаке и — нате: поэтесса, член Правления Союза писателей СССР! Нужно Алима спросить.

...Наша жизнь была очень утлая, жили мы скудно, в глиняной халупе.

Сначала я был вундеркиндом — из первого класса скакнул в третий. Потом отец умер, и брат Бободжан перевез нас к себе в Сталинабад. Тут и война. Я оказался в поганой школе, где было два бандита, еврей и чеченец, — учебе пришел конец: мне понравились азартные игры — кости и самодельные карты, я попробовал вино... Но перед ат-

тестатом спохватился — перевелся в хорошую школу, все наверстал, получил золотую медаль и без экзаменов поступил в МГУ на скучный исторический факультет — по указке Бободжана...

Опять Бободжан! Что за птица?

...Брат Бободжан — старше меня на 20 лет — учился в пединституте, по ночам разгружал вагоны. У него развился костный туберкулез. После операции нога не сгибалась, он ее волочил. Потом окончил Коммунистический институт журналистики в Москве и в 41-м защитил кандидатскую — “История секты исмаилитов”. Его взяли на партработу. В 46-м уже в качестве секретаря ЦК КП Таджикистана он представлял Сталину таджикских артистов. Сталину понравилось, и он сделал Бободжана первым секретарем ЦК КП Таджикистана...

Вон оно что! Лезу в Энциклопедический словарь:

Гафуров Бободжан Гафурович (1908–1977), сов. парт. деятель, историк, акад. АН СССР. В 1946–56 1-й секр. ЦК КП Таджикистана. С 1956 дир-р Ин-та востоковедения АН СССР...

И ниже:

Гафуров (до 1978 Советабод), город...

Стало быть, брат Алима Бободжан, партийный выдвиженец, сталинский кочет, хромой Гарун-аль-Рашид, был хо-



Алим Гафуров, востоковед, переводчик Корана.

зьяном Таджикистана. Теперь понятно, почему маманя на старости лет стала секретарем СП СССР. Сыночек назначил. Ох, не люблю я коммуны, с души рвет. Я пожалел, что напряг Алима вспоминать. И поехал за ключами — Гафуровы возвращались на свой Кутузовский проспект.

В разоренной квартире громоздились тюки, коробки... Запыленный Алим, подперев голову, обреченно сидел на чемодане, похожий на скульптуру Шадра “Сезонник”. Кошка Соня забилась в корзину. Тимур, выпущенный на побывку из Кащенко, тревожным маятником сновал перед глазами. Спросил, называя меня по фамилии жены:

— Господин Лауэр, за кого вы будете голосовать: за коммунистов или демократов? Я предполагаю создать новую партию — марксистскую. Не желаете примкнуть?..

— Уйди, Тимур, — вяло отгонял его Алим.

— Вы когда родились? — не отставал Тимур.

— Двадцать восьмого августа сорок девятого года.

— В воскресенье, — безошибочно уточнил Тимур, не напрягаясь, как Дастин Хофман в “Человеке дождя”. — А сто лет вам будет в среду.

— ?..

— Не проверяй, Сережа, — устало махнул рукой Алим. — Он никогда не ошибается.

Сура пыталась помочь мужу, но только мешала, все забывала и путала. Алим мягко запихнул ее в кресло — на колени подушку, на подушку Соню. Дал мне деньги на грядущий ремонт. Мы выпили на посошок, он подарил свою книжку “Афоризмы и притчи”¹ и, извинившись, попросил захватить по дороге мусор — два тюка, перевязан-

1 Гафуров А. *Афоризмы и притчи*. М., 2006.

ных бечевкой. В них оказалась и коробка из-под обуви... с украшениями Суры, в числе которых — старинный изумрудный перстень.

... Не переживай, Сережа, ибо "жизнь учит не копить, а отдавать". Сура про кольцо не узнала — она стремительно теряет память. Нам всем надо лечиться, а, где и как, не знаю. Наверное, придется продавать нашу квартиру на Кутузовском и ехать к дочери в Израиль. Страна хорошая, только евреев многовато и отношения с дочерью не лучшие.

Насчет Бободжана. Ты не любишь коммунистов и правильно делаешь — чем их меньше, тем их лучше. Но — его случай мне представляется особым.

Действительно, десять лет Бободжан был владыкой Таджикистана и ходил у Сталина в любимцах. Первым делом прорыл Большой Гиссарский канал и каждый год за хлопок получал орден Ленина. Хлопок для казны — валюта, для крестьян — наказание господне. Потом Бободжан открыл в Сталинабаде университет, в который под шум трудового успеха набрал профессоров-изгоев из Москвы и Ленинграда, в основном евреев и недопосаженных. А на дворе — космополитизм и прочая мерзость. "Список Шиндлера" Спилберга, к слову сказать, немножко и про Бободжана.

В 56-м Хрущев выгнал его из секретарей и сослал "на колючую" — руководить Институтом востоковедения АН СССР, полагая, что там Бободжан сломает зубы. И никто не подсказал Никите, что для Бободжана востоковедение — и призвание и хобби. Бободжан разгулялся!.. Сделал занюханый ИВАН знаменитым на весь мир научным заведением. Кадровый принцип — тот же, что и в Сталинабаде: собирал "отбросы". Профессор Коростовцев по-

сле успешной работы в Египте, отсидев свое, стал у Бободжана академиком; граф Завадовский, французский эмигрант, после тюрьмы — научным сотрудником. Бободжан даже афганского царевича пригрозил. Принц бежал в свое время от кривого ятагана в СССР, долго сидел, потом бедствовал. Как Бободжан не убоился его приголубить! Людей он спасал виртуозно. И хозяйствовал виртуозно, используя сталинские связи, — к любому верховному чину обращался по-восточному: “Дорогой брат!..” Учредил международные конференции — сотрудники его колесили по белу свету; организовал издательство “Восточная литература” и т. д.

И Солженицын у него в ИВАНе выступал, и Высоцкий пел. А когда сотрудники потянулись в Израиль, не отговаривал, просто тихо скорбел. И подписантов-антисоветчиков в обиду не давал. Вот тебе и сталинский сокол! Я думаю про него так: Бободжан намыкался в детстве, решил быть в дальнейшем милосердом-доброхотом, а потом вошел во вкус, ибо благотворить — верх наслаждения.

Когда Бободжан уехал в Москву, он оставил нам с мамой свою квартиру. С огромной библиотекой. И я сменил пьянство — на чтение. Деньги на жизнь он слал маме, не мне — на это я обижался. Ты спрашивал, как мама отнеслась к вознесению Бободжана? Да никак. Хотел было сказать: как мать Сталина. Но мать Сталина была неграмотной женщиной, а мама всегда ощущала себя наследницей легендарного Комола, она осознавала свою высокородность, и ей партийное величие сына было — пустяк.

Извини, Сережа, дорогой, Тимур колобродит — надо утихомиривать. Только сейчас почувствовал, как я устал. А посему приму русского “успокоительного”. Приходи в гости, я сделаю рис по-кишлячному — обзавелся курдючным салом.

Чтоб не забыть: Бободжану нравились люди умнее его, и чужим удачам он радовался больше, чем своим. И говорил: “Страстная любовь к себе может быть только однополый”.

С Алимом тогда, в 2001 году, я не встретился — полетел в Сеул с театром Додина. И в первый же вечер, убегая из нехорошего района от мнимой погони, винтообразно сломал ногу. Очнулся я в общей палате обычной больницы на двадцатом этаже. Богатые в Сеуле, как выяснилось, болеют в низкорослых лечебницах. Тяжелая нога в гипсе лежала рядом на подставке.

Возле меня сидела Маша Никифорова, артистка. Это с ней мы вчера в сказочной харчевне на полу перед огнедышащей жаровней угощались наоборот: ели сырую холодную рыбу, запивая горячей водкой. Это она уговаривала меня утомиться, но я решил погулять..

Через стеклянную стену-окно был виден промытый сказочный город, засаженный в центре небоскребами. На горизонте Сеул подбирался к мшистой бирюзовой пологой горе, увенчанной буддийским храмом. На крышу ближайшего дома сел канареечный мини-вертолет. Из него вышла крошечная бизнес-леди в черном костюме, не оборачиваясь, протянула руку назад — вертолетик моргнул, и корейночка, прижав папку к груди, на кривеньких ножках ускакала.

— По-гу-лял? — поправляя невесомое одеяло, спросила Маша Никифорова и по-бабьи сложила руки на пышной груди. — Слава богу, живой. Пописать хочешь, мудила? Где утка?

В благовонной свежей палате на восемь душ бесшумно работали телевизоры — у каждого больного был персональный звук в ушах. Горбатый старичок, единственный

ходок в палате, на вычурном костыле, улыбаясь, приковылял на помощь, коснулся красной кнопки: в палате соткался белоснежный херувим с фарфоровым личиком, за нежное ушко зацеплен микрофон, над еле заметной грудкой щебетала рация — милосердная сестра. Она улыбаясь протянула Маше голубую утицу миниатюрного объема: “Экскьюзми, мэм”. Затем вытянула из-под кровати гостевое спальное место: “Плиз, мэм”.

В Москве ногу мою свинтили и через полгода, опираясь на палку, с бутылкой водки, в которой плавала изящная корейская змейка, я топтался у подъезда Алима на Кутузовском проспекте, забыв код.

— Сура, это Сережа. Какой у вас код?

— Вы забыли, Юрочка, трехцветный. И потом, она кошечка, Соня.

Я выключил мобильник и стал палкой долбить железную дверь.

Мне открыл недовольный консьерж, от смущения я задел невысокую пальму в вестибюле.

Алим в костюме с галстуком и в фартуке готовил. Расставленный стол ломился. Само собой, картошка, селедка, квашеная капуста, соленые огурцы, помидоры, трава. Редок было пять (черная, красная, зеленая, желтая, белая), три долмы (в виноградных листьях, помидорах, баклажанах), бастурма, конская колбаса (ее я знал в лицо), салат оливье и неожиданные рыба-фиш и форшмак (неужели дань моей четвертной еврейскости?). Алкоголь отсутствовал. Я задумался: может, Алим завязал, а я тут?.. Но, потеснив снедь, все-таки воткнул заморскую бутылку в центр стола. Сура обложила меня подушками, как раненого, вместе с сыном поспешила на кухню мешать мужу. На письменном столе

урчал компьютер — на экране змеились разноцветные графики. После того как Алим вернулся в свою квартиру, которую раньше сдавал, надвинулась бедность. И тогда он вспомнил юность: стал играть, но не в карты, а на бирже, проводя у компьютера по несколько часов в день. Он был способный — биржа его кормила.

С кухни доносились тяжкие вздохи и вежливая ругань хозяина. Стуча копытами, я поспешил на помощь. Алим по-новому — после Суры — перелеплял манты. Я оттянул домочадцев на корейские байки:

— ...Мне предоставили инвалидное кресло с мотором, и поехал я в туалет. Очень красивый, но очень маленький, проблемный. Высаживали меня на горшок четыре девы, воркуя: “Ноу проблем, сэр”. Из туалета я поехал не в палату, а в больничный обход. Полулежа, нога на кронштейне — чистый космонавт! Все улыбаются, кланяются. Пахнет как в раю. В лифте медбрат журнал протягивает: “Плиз, сэр, автограф”. А на обложке Шон Коннери, лысый, бородатый, типа я...

Я замял напряг и вернулся в комнату, чтобы не маячить.

В скором времени Алим в фартуке, накренившись, внес в комнату блюдо грубой деревенской работы с горой дымящегося плова, усыпанного зернами граната. Макушку горы венчала почерневшая — отработанная — с кулак величиной головка чеснока.

— Алим... ЧТО ТЫ ЗАТЕЯЛ?!

— А что такого? — пожал плечами Алим. — Все скромно, по-кишлачному. Вот поедем с тобой на столетие Бободжана — там-то будет стол достойный. — И подхватил мой рассказ: — А Бободжан на инвалидном кресле в Мекку ездил, колеса руками вертел — мотора не было...

— Господин Лауэр, — перебил отца Тимур, — почему вы один в гости к нам пришли, где ваша супруга?

— Моя жена.. — обстоятельно, как нерусскому, начал я, — в настоящее время разъезжает по Европе. Она полька и поехала на Пасху в Рим, повидать Папу Римского, ибо он тоже поляк, хотя она, правда, и лютеранка, потому что мать у нее финка..

Тимур вопросительно наморщил лоб, Алим замер над пловом с деревянной ложкой в руке. Лишь Сура отрешенно гладила Соню.

— ...но через три дня она вернется и будет красить яйца на нашу Пасху, православную.

Великое дело восточная дипломатия! Ни Алим, ни Тимур не стали приставать ко мне с уточнениями.

— ...Так вот, — продолжил Алим, — Брежнев послал Бободжана восстановить отношения с Саудовской Аравией. А король Фейсал и отношений не хочет, и выгнать Бободжана не может, ибо сам звал его в гости на приеме у Сталина, когда был принцем. И тогда Фейсал предложил Бободжану свершить хадж — для подтверждения правоверности. А Бободжан — член ЦК — какой ему хадж! И согласовать с Москвой нет времени. Нога, говорит, у меня больная, еле хожу. А Фейсал ему — инвалидное кресло. Куда деться! Сел Бободжан — колеса в руки и поехал в Мекку, а я пойду принесу манты..

На стене висела большая пожелтевшая фотография полнолицего, коротко стриженного мужчины, то ли в феске, то ли в тюбетейке, с величавым выражением лица

— Бободжан? — неуверенно спросил я.

— Это мама Алима, — привычно улыбнулась Сура.



Бободжан Гафуров, брат Алима, изображен на банкноте Республики Таджикистан.

А хозяин уже нес дымящиеся манты на расписном глиняном блюде размером с велосипедное колесо. Но и это было не все, впереди маячили лагман и вареная баранина... Я не рассчитал дыхания и сошел с лыжни. Алим вытряхнул из пустой корейской бутылки пружинистую черную змейку и запустил ее в непечатый литровый пузырь ледяной “Столичной”.

Я ощущал вину перед “мамой”.

— А ты не помнишь, какие стихи мама читала в кишлаке?

Алим снял фартук, взялся за бутылку.

— Сурочка, тебе налить немножко?

— Как скажешь, Аурелио, — по-девичьи засмеялась Сура.

Присказку из трофейного фильма любила повторять и моя мама. Мне нестерпимо стало жалко Суру: СПИД затормозили, ну неужели с Альцгеймером сраным справиться нельзя?!

Алим прочитал на фарси короткое стихотворение, перевел:

— “Зашей себе глаза. Пусть сердце будет глазом. И этим глазом мир увидишь ты иной. От сомнения решительным отказом ты мненью своему укажешь путь прямой”.
Комол, мой предок.

— Это Джалал-ад-Дин Руми, тринадцатый век, — сказал Тимур, сосредоточенно глядя в тарелку.

Сура погладила сына по плечу.

— Юра, не спорь с папой.

— Я не Юра, Юра — Сергей Евгеньевич.

Сура, проверяя услышанное, посмотрела на меня, потом на сына, снова на меня.

— Мальчики, а что же вы совсем не пьете? — сказала она не своё (ей не нравилось, когда Алим выпивает), задумалась, глядя на нас чистыми глазами, и ушла полежать.

Непривычная загородная свежесть с Москвы-реки пахнула в комнату, подсвеченный Белый дом на том берегу казался сказочным дворцом.

Мне хотелось поговорить о Коране, но пороху на умный разговор не было.

На прощание Алим подарил мне книгу Бободжана “Таджики”.

— Господин Лауэр — ваша трость. — Тимур подал мне забытую палку, как жезл, двумя руками.

— Благодарствую. Вообще-то я не Лауэр, а Каледин. На худой конец Беркенгейм — если по отцу.

— Как вы сказали?.. Беркенгейм?.. Значит, вы родственник Карла Маркса.

— В смысле?..

— Московский купец первой гильдии Моисей Соломонович Беркенгейм женился на девице Коган — родственнице матери Карла Маркса. От брака родились пять сыновей и две дочери: Леон, Абрам, Григорий..

— Это деды мои! — воскликнул я. — Двоюродные..

— Сведения почерпнуты из генеалогической таблицы музея Карла Маркса, город Трир, Германия.

— Сереженька.. — сочувственно вздохнул Алим, — он никогда не ошибается. Поедем лучше на столетие Бободжана. Попьем-покушаем.. На шестидесятилетие к нему Индира Ганди приезжала..

— Индира к дяде не ездила! — сказал Тимур. — Он к ней летал.

Я стал прощаться. Алим протянул мне нерусские деньги.

— Посмотри.

На новой банкноте — Бободжан, полный, важный, чрезвычайно похожий на маму.

— Ишь ты, как его чтут! Алим, скажи мне как коммунист марксисту, почему ты не испохабился при таком братане?

— “Не вечный для времен, я вечен для себя.. /Я не для них бренчу незвонкими струнами..”

— Тоже Руми?

— Баратынский.

Нога под алкогольной анестезией не болела, я похромал к метро.

— До свидания, Юрочка!..

Я обернулся: Сура из окна махала мне рукой.

“Таджиков” я читал до утра, как “Тысячу и одну ночь”, пропуская лишь марксистско-ленинские выводы о смене исторических формаций.

Под утро приснился мне сон: я в раю на ковре под яблоней-китайкой, земля усыпана падалицей, источающей винный дух, — всё, как осенью на даче. Вокруг восточные красавицы в прозрачных шальварах.. Журчит ручей.. Звучат любимые стихи Сельвинского:

Кружатся листья звено за звеном,

Черные листья с бронзою в теле.

Осень. Жаворонки улетели.

Битые яблоки пахнут вином..

Но почему-то рай трещал.. И я проснулся.

Трещал не рай: горел под моим низким первоэтажным окном огромный деревянный ящик, куда ремонтеры, меняющие в доме лифты, бросали изработанные детали и промасленную ветошь. Накануне я тщетно просил работяг не придвигать ящик близко к окну, даже грозил красным удостоверением с золотым тиснением “ПРЕССА”.

Огонь захватил оконный переплет. Сполохи пожара носились по потолку, стенам... Я схватил таз, в котором мокли трусы-носки... С хрустом лопнуло стекло — огонь лизнул комнату. Я, забыв про халат, голый, бился с огнем изнутри, не успевая вызвать помощь. Но спасители приехали, распустили рукава... Комната пришла в упадок: паркет вспучивался на глазах, побуревшая тахта хлюпала... А послезавтра приезжает жена.

Утром пришел председатель ЖСК, принес картонную упаковку от телевизора — забить погубленное окно, уныло посоветовал подать на ремонтеров в суд. Я забил окно и сел думать, как жить дальше. Позвонил товарищу. Умному. Товарищ сказал, что я дурак: надо было не пожар тушить, а последовательно тягать ящик с огнем под другие окна, чтобы погорело малёк и во второй комнате, и на кухне. В суд жаловаться не надо — воляна может длиться годами. Надо лифтарей пугануть. По-умному. Кстати, где Олька?

— В Риме... Надо вешаться...

— Рано... Где говоришь, в Ри-име?.. Это хорошо-о... Значит, так! Лифтари будут крутить яйца: мол, не по их вине, дворники виноваты и так далее. Не перечь, кивай — претензий нет. Вот только жена... От нее, мол, сам Папа Римский воеет, она ему житья не дает: каждый год ездиет — он от нее уже прячется... Э-эх! Под другие окна огнище надо было таскать...

Возник начальник по лифтам, пожилой, солидный: виноваты дворники. Я запахнул обхезанный халат и, опустив голову, послушно соглашался: конечно — дворники. Предложил кофе. Он утешал меня, наставлял по будущему ремонту. Компенсацией не пахло. Я удрученно молчал, а напоследок тихо, как бы невзначай, произнес

сокровенные слова умного товарища про жену и Папу Римского...

— ... А так она женщина.. положительная, — неуверенно закончил я, — даже, можно сказать, хорошая.

Бред был услышан.

Двое суток турецкие работяги в роскошных оранжевых комбинезонах курочили сталинскую метровую стену — вставляли бесшумное окно, сушили ветродуем нутро, меняли, циклевали, покрывали многожды моментальным суперлаком паркет, клеили обои... И в последнюю ночь перед женой две уборщицы довели квартиру до ума, перемыв всё: книги, лампы, пузырьки-флакончики, кольца, бусы...

...Ислам раздражал Бободжана оголтелой иступленностью, зашоренностью, а популярность Корана он относил во многом на счет благозвучия арабского языка. И вообще считал, что Мухаммад сочинял Коран по мере бытовой необходимости, а выдавал за поэтические откровения Всевышнего. А более всего Бободжан злился, что в раю ему за все труды праведные предлагаются сорок девственниц и "реки вина, упоительного по вкусу" (47. 16). Он ни того, ни другого не жаловал, у него были другие предпочтения.

Далась Востоку эта девственность! Помню, на смотрины моей жены мама пригласила двух подруг — литературных дам — и известного азербайджанского писателя, человека интеллигентного и современного. Он по-светски ухаживал за моей невестой — редактором "Совписа", развлекая рассказами о Швеции, откуда только что вернулся, а когда мы с ним курили на кухне, понизив голос, строго спросил: "Она девушка?"

...За атеизм Бободжана пострадал я: на его 90-летию в 1998 году руководство Таджикистана во главе с президентом пало на колени в молитве, я остался стоять, и в результате — на кладбище меня везла “Чайка”, обратно — ржавые “Жигули”.

В 51-м меня за карточную игру на чердаке МГУ из университета выгнали, и доучивался я в Сталинабаде. Стал работать в издательстве. Поступил в аспирантуру — занимался восточными именами. Потом мне все опротивело, я уволился, пропил расчетные деньги и готов был влиться в невеселую братию безвозвратных алкоголиков. Но Господь меня спас — я попал на телевидение, где работала журналисткой восхитительная девушка с каштановой косой — Сура. Мы вместе с ней пили кислое вино в ларьках, я читал ей стихи, порол чепуху. Получилась любовь. Я изменил преферансу, в котором жил. Выяснилось, что Сурочка, мало того что красавица, еще и еврейка в придачу. Меня забавляло ее имя Сура — так называются главы в Коране, отнюдь не в еврейском литпамятнике. Тогда я Коран по традиции читал, и имя Сура мне было приятно вдвойне. В моем переводе Коран разбит на “главы” не из чувства протеста, а для удобства русскому глазу.

Еврейская родня, узнав, что Сурочка выходит за мусульманского пьяницу, пришла в ужас, за исключением незабвенной тети Хавы, которая меня почему-то жалела и кормила на убой роскошными свиными отбивными (еврейка мусульманина!).

В 70-м я обнаглел — задумал переезд в Москву. Снова помог Бободжан. Меня взяли на работу в издательство при Верховном Совете СССР. Это был кошмар моей жизни. От этой работы подымались болотные миазмы. Не отравился окончательно только потому, что под прикрытием

книжного стеллажа с инвентарным номером писал в записке книжку “Имя и история”. И конечно, пьянствовал. Сура терпела, а Бободжан был недоволен.

Я всегда понимал, что великая лихва — начиная с золотой школьной медали и кончая работой, квартирой в Москве и пр. — перепала мне от брата незаслуженно. И потому был на него в вечной обиде. За что мне теперь очень стыдно. А вот дочку мою его венценосность изуродовала вконец: она и по сей день считает, что всемогущий дядя ей недодал. А посему в Израиль я к ней на доживку не поеду — она мне не нравится все больше и больше. Сережа, дорогой, мне стало так муторно от этих мыслей, что, наверное, пойду приму “успокоительного”.

Сура упала и под натиском инсульта, совокупленного с Альцгеймером, скоро умерла.

На тахте Суры лежала одинокая мрачная Соня, нечесаная, в колтунах. Я присел рядом — она зарычала.

Тимур переселился в Кащенко на постоянно. А Алим ушел в двойное равнодушие: обычное стариковское и в особую восточную отстраненность. Я стал тормошить его пуще прежнего, чтобы не увяз в одиночестве: “Пиши больше, подробнее: ты же уникальный человек, Курская магнитная аномалия. В тебе смыкнулись Восток и Запад”. На что он горестно усмехнулся:

— Восемьдесят лет — ничего нового, все по кругу, надоело. — И сказал неправильную фразу: — Оптимист отматывает клубок с начала, а пессимист — с конца.

... В 89-м году издатель попросил меня прочитать таджикский перевод Корана. Перевод мне не понравился. Я подумал,



*Мама Алима Гафурова работала учительницей
у девочек в таджикском кишлаке.*

что мог бы предложить свое прочтение неудачных мест. Взял арабский текст, русский перевод Крачковского и — матушки мои!.. Как мог такой известный арабист сделать такой плохой перевод. И никто из его учеников не заикнулся, что это недоделанная работа, по сути, подстрочник. Тут в журнале “Памир” стал печататься перевод Османова, намного лучше Крачковского, но тоже дефектный (я насчитал пятьдесят несоответствий). Беда переводчиков — слепое следование за средневековыми комментаторами. Не хочется смаковать ошибки коллег, но, если ты настаиваешь, пожалуйста. Моисей, Авраам, Саул стали Мусой, Ибрахимом, Талутом. Переименовались все вплоть до Иисуса. Зачем? Согласись: “И сказал Моисей...” — не то же самое, что: “Вот сказал Муса...” Ладно бы только это, часто вообще терялась здравая мысль. Например, Соломон-Сулейман любил коней. Вечером ему пригнали табун прекрасных скакунов. Он, чтобы определить их стати, в темноте начал оглаживать лошадей по шеям и ногам. В переводе же Сулейман “рубит коньям шеи и ноги”. Я обратился к средневековому комментатору, а мудрый толкователь кивает головой — все правильно: так царь выражает свое почитание Аллаха. Или — “в раю сады, реками омовенны...” А в саду ручьи текут, а не реки. Это по-арабски ручей и река — одно и то же: нахр. Откуда на Аравийском полуострове реки!

Коран я знал слабо, и завелась у меня шальная мысль: самому перевести Коран.

И решил вообще игнорировать средневековых комментаторов: они искали в Священной Книге потаенный смысл, а кроме того, каждый хотел за столбить себе место среди мудрых толкователей Всевышнего. А Коран — средневековый сборник проповедей и наставлений неграмотным лю-

ням — должен быть ясным и понятным. И русскоязычный читатель не должен спотыкаться о непонятные арабские термины да еще в комических сочетаниях. А то получается нелепость: “кто уверовал, должен совершить салат и платить закат”. А “салат” — всего-навсего молитва, а “закат” — сбор для бедных.

Короче говоря, я бросил работу, вышел из партии и сел за перевод Корана. Сел на десять лет.

После взрыва башен-близнецов тихий Алим стал творить угары. Опубликовал в “Известиях” статью “Я знаю, что такое ислам”. “...Ислам правит на Востоке более тринадцати веков и не принес ему ничего, кроме упадка, одичания и деградации... Это не религия, а особая организация с жесточайшей дисциплиной, которая ставит своей целью подчинение всего рода человеческого. Ислам в переводе с арабского — подчинение, покорность...”

В интернете разразилась буря. На сайте “ислам. ру” появилась статья “Где похоронят гафуровых?” и т. п. Одни предлагали Алиму за блистательный перевод Корана поставить памятник, другие — посадить на кол. Вторых было больше. На него подали в суд за поношение религии. Защитников ислама набился полный зал — Алима хотели порвать. Он был один, в качестве охраны — Сура.

Он заявил, что он — переводчик Корана — с ответственностью утверждает, что Коран сформулировал, утвердил и инициировал военную доктрину ислама — войну с неверными, а неверных три четверти человечества. По Корану, тот, кто противится войне, не только впадает в грех ослушания, но и лишается рассудка, ибо не может понять справедливость и мудрость предписанного Алла-

хом. Мир на земле приведет только к плохому — тесноте и голоду. И потому он, Алим Гафуров, “считает ислам ошибочной религией”. Что же касается божественного происхождения Корана, то здесь Мухаммад, мягко говоря, лукавил, и тому есть неоспоримые научные доказательства.

Алим суд выиграл.

Я спросил его, как он на такое решился, помнит ли он про Салмана Рушди?.. Он процитировал себя: “Думай, прежде чем делать; делай, прежде чем испугаться”.

Но кислород ему перекрыли. Саудовская Аравия, Иран и Арабские Эмираты единодушно раздумали печатать его перевод массовым тиражом. А узнав, что у него вдобавок и жена еврейка, раздумали вдвойне.

...Не догадался я вовремя скромный гарем завести на две персоны: Сурочка — для души и тихая мусульманка — для прикрытия. Никто не подсказал. Хотя, нет, вру, Сурочка предупреждала, что будет помехой. Кстати, ее очень любил Бободжан...

Я переводил Коран и очень надеялся найти в нем сокровенную разгадку бытия. Не нашел. Работа совпала с трезвым восемнадцатилетним периодом моей жизни. Много интересного прошло мимо меня, но я считал, что цель оправдывает средства. Зря считал. Трезвость ведет по прямой, ровной и скучноватой дороге. До пункта назначения доезжаешь быстро. В 2004-м умерла моя сестра, я полетел в Душанбе, не удержался и с тех пор наверстываю упущенное. По-моему, если человек начал свой путь с вином, с ним он должен и закончить. И религия не всегда мешала питию. Считается, что мусульмане не пили. Они попили будь здоров и при халифах. А уж при саманидах, чья

власть простиралась на Среднюю Азию, Афганистан, пол-Ирана (IX—X вв.), пили в открытую. Дворцовая знать ужинала без вина, а потом сходилась во дворце правителя и пьянствовала до петухов. У Мухаммада на свадьбе с первой женой Хадиджой вина было — залейся. Поворот наступил с упадком культуры и усилением суфизма. Это когда знаменитый Ходжа Ахрор, глава суфийского ордена Накшбандиев, повел одуревших от ненависти к ученой знати нищих мусульман на штурм обсерватории Улугбека, последнего из мозикан мусульманской науки. Потом пришли узбеки и вино запретили окончательно, заменив его на опиум. Я заметил, что все дурное начинается с запрета вина.

На Коран я потратил десять лет жизни, обретя разочарование в исламе.

Вызвал вчера специальную тетку по кошкам, чтоб привела Соню в порядок. Так мало того, что Соня ее обругала матом, еще и покусала с головы до ног. И потом сказала (Соня, не тетка) мне с укором: “Сурочка меня любила, а ты — только держишь”. Такие мои невеселые дела.

Зачем Алим накуролесил под старость, куда его понесло в рискованное разоблачение?.. Не спасать же страждущее человечество — ведь не дурак. Жил бы себе тихо-мирно, попивал для расслабухи. Выдумывал бы афоризмы, занимался любимым делом: писал книжки о происхождении имен.. Меня озолоти — я бы на такое судилище не подписался: страшно!

Осенью, когда дачный народ разъезжается по домам, приходит благодать. Журавли проторенным маршрутом — через мой участок — неровным клином тянут на юг, хотя компас

упрямо показывает запад. Гусей крикливых караван... Ржавая осень, поля облысели... Большая Медведица наконец возвратилась из-за леса на свое место — над моим сараем.

Каждый вечер, собираясь в лес, боюсь, что в сумерках меня примут за кабана удалые охотники, и потому поверх телогрейки надеваю оранжевый жилет, в каких наши бабы кладут асфальт. Вооружаюсь топориком, ибо кроме охотников опасуюсь бандюганов — на днях приезжала ментура, предупреждала об аккуратности: из Можайской малолетки побег — два пацана по району шарашатся. Есть у меня и травматический пистолет, но его я не беру — как бы не подстрелить кого-нито со страху.

За горбатым полем — подсвеченная желтым электричеством церковь, в которой я когда-то служил кочегаром. Над головой, тяжело работая крыльями, проплыла преждевременная головастая сова. Сослепу с треском вломилась в облетевший орешник, испугалась и затихла. Заспанная мышь перебежала дорогу.

Я позвонил Алиму:

— Здравствуй, брат! Ты знаешь..

— "...что изрек, — подхватил Алим, — прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек?

Рабом родится человек,
 Рабом в могилу ляжет,
 И смерть ему едва ли скажет,
 Зачем он шел долиной чудной слез,
 Страдал, рыдал, терпел, исчез"¹.

1 Константин Батюшков. *Изречение Мельхиседека.*

Авиатор

— Мы с вами попутчики, кажется?

М. ЛЕРМОНТОВ. “Бэла”

В садовом товариществе “Сокол”, где прошла моя юность и подступила старость, зимой живем только я и Вова Заяц, отставной прапорщик, наш председатель. По осени Вова спер полкилометра резервной водопроводной магистрали, я вчинил иск: Заяцу велели вернуть трубу на место.

Я спешил из Москвы на дачу: запалю камин, возьму книжечку... Но на дачу не попал: путь к моему участку пресекал снежный вал. Это, надо думать, обиженный Вова подбил бульдозериста завалить дорогу. Машину на юру не оставишь — у кого бы переночевать? Вспоминаю: где-то здесь обитает еще один зимогор, некто Кириллов? Поехал искать. И тут из-за поворота на меня вылетел рыжий овчар

с черным подбоем, запряженный в шлейку, — пес тянул за собой компактного седого лыжника в желтом костюме “Адидас”. Я приоткрыл окно:

— Не подскажите, как найти Кириллова?!

— Стоять, Гром! Зачем вам Кириллов?

Пес зарычал.

— Отставить, Гром!

Я вышел из машины, поведал о своей печали.

— Ай да Вова-дурочок, — покачал головой лыжник. — Какой глупый. Кириллов — я. Поступим так: поезжайте вперед, садовое товарищество “Полет”, дом пять. Правда, там... дама, так сказать...

Слова Кириллова заглушил рев самолета: среда — полетные дни в Кубинке. Оставляя дымный след, над нами промчался шустрый “ястребок” с длинной шеей, низким клювом и маленькими, прижатыми к заду крыльями. Вернулся, едва не сббив лес, взмыл вверх и стал выкрутасничать. Кириллов приложил ко лбу ладонь козырьком: “Двадцать девятый... — и пояснил нежно: — Микоян”.

У Кириллова оказалась простая деревенская изба с побеленной русской печью, в которую было вмазано зеркальце, как у Мелеховых в “Тихом Доне”. Интерьер городской. Над тахтой — кортик. На столе коньяк, закуска.

В сенях затопал Гром, боднул дверь головой и прыжком забрался на диван, согнав меня на стул. А вскорости хозяин воткнул лыжи в сугроб под окном и вошел в дом.

Притянул поплотнее дверь, где спала “дама”.

— Ниночка. Фельдшер, а торгует в Москве на рынке. Сын наркоман. Все деньги на лечение.

Он закрыл тему и позвонил бульдозеристу:

— Ты что натворил на “Соколе”?! Создал затор, так сказать.. Если пожар — машина не проедет. Тебя, дурака, посадят, не Зайца.

Гром с дивана протянул хозяину лапу, как для поцелуя. Кириллов осторожно выдрал намерзшие между собачьими пальцами ледышки. Поднялся, вымыл руки, провел ладонями по короткой седой стрижке — Чарльз Бронсон из “Великолепной семерки”, такой же скуластый, узкоглазый, только постаревший и без усов. И одновременно Максим Максимыч из “Героя нашего времени”.

Я посмотрел на кортик:

— Моряк?

— Летчик.. Полковник.

Гром слез с дивана и сунул морду в колени хозяину.

— Ревну-ует. — Кириллов погладил его по крутой башке. — Нехорошо, Гром.. Военный пес, а ведешь себя, так сказать, прям барышня в положении.

Гром с ворчанием вернулся на диван.

— Капризный товарищ, — сказал я осторожно.

— У него шумы в сердце обнаружили. — Кириллов обновлял стол. Руки его не суетились.

— А как же лыжи? — спросил я.

— Без лыж не может — ругается.

Кириллов родился в чувашской деревне. Летал по полной программе: горел, обледеневал, катапультировался. Кандидат военных наук. Преподавал в академии. Ему за семьдесят. Пятнадцать лет как председатель садового товарищества. На выходные приезжает жена, начальница на Метрострое. Сейчас у него гостит сын Сережа от первого брака, инвалид: не вписался на машине в поворот, еле выжил. Недавно Кириллову удалили аденому простаты,

он, опасался, что, “так сказать”... Теперь с помощью Нины не опасается.

Ночевал я на печи, как в кино. Утром Кириллов приседал, скакал на пятках. Поднял за ножку стул на вытянутой руке. В итоге опрыскался приятным одеколоном. Мимо печи, хромя, прошел Сережа, высокий, широкоплечий, похожий на моего сына Димку. Я поздоровался — он обернулся: один глаз был забран черной заплатой, левая рука кончалась перчаткой — протез. Он кивнул отцу, молча поел. Проходя мимо меня обратно, спросил таинственно: — У вас кобель воды много пьет?..

Мочевой пузырь звал меня на волю, но появилась Нина, миловидная крашенная блондинка с навсегда уставшим лицом. Я уткнулся назад. Неуверенно держась за голову, она оглядела безнадежный утренний стол.

— Ничего не осталось?

Все! Невтерпеж! Я спрыгнул с печи как был, в кальсонах.

— Ой! — вскрикнула Нина, запахивая полу мужского халата.

— Познакомься, Ниночка, — сказал Кириллов, протягивая мне новую зубную щетку в чехле. — Сергей Каледин, так сказать. Писатель.

Я кивнул и бегом на выход.

— Писатель! — крикнула вдогонку Нина. — Пусть Саша на мне женится..

Моя жизнь изменилась. Теперь, когда я сатанел на даче от бесконечной зимы, летел к Кириллову: “Здравия желаю, господин полковник! Рядовой Каледин без вашего приказа прибыл!”

Поначалу меня раздражала его манера реагировать на мои слова через паузу и как бы с сомнением. Если мои



*Александр Кириллович Кириллов —
летчик, мой сосед по даче, 2009 г.*

байки ему неинтересны и он слушает просто из вежливости — незачем мне с ним и нюхаться. Но скоро дошло: ведь он же не просто пенсионер-огородник, он полжизни носился там за облаками, обгоняя собственный звук, ему повышенная возбудимость противопоказана.

Я не играю в шахматы и преферанс, в которых он ас. Мы общаемся на фоне чая и алкоголя, в котором он тоже профи — пьяным не бывает. Разгулявшись, я часто перебиваю его, требую уточнений, делаю замечания. Он не злится, ждет: может, у меня есть, что добавить, и заканчивает свою, оборванную мною, мысль. Иногда он советуется со мной: как быть с Ниной? Он ее жалеет, а кроме того, скован с ней нерасторжимым половым смычком. И мои советы пропускает мимо уха.

Что это? Поздняя любовь? Или ширма, за которой не виден последний предел, куда все быстрее несет его время? Этими вопросами Кириллов не озадачивается и правильно делает. Он просто живет, а вся эта философия — для нищих духом и слабых телом. Нина жалеет его сына и говорит, что парня надо женить на достойной инвалидке через интернет.

Жена Кириллова, красивая статная женщина с командирской повадкой, про Нину догадывается. Я увещевал полковника ничего не менять и крепить советскую семью — ведь он русский генерал! Ему уже и мундир новый с лампасами успели пошить в свое время, но в последний момент Ельцин с бодуна его вычеркнул. А Кириллов на радостях уже послал сестре Анфисе в деревню фото в генеральской форме.

Кириллову сплетни, дразги — не в кассу. Он надумал поступить благородно и ответственно — поселить Нину

где-нибудь подальше. Чем плоха, к примеру, его родина Чувашия, где у него все схвачено? Пусть она там живет и работает на свежем воздухе и оттуда помогает родне. Правда, мнением Нины о возможной ссылке поинтересоваться забыл.

Садовые товарищи в нем души не чают: он терпеливо выслушивает их жалобы и через паузу, как царь Соломон, принимает решение. Если дела “Полета” не терпят отлагательства — надо чинить сторевающий трансформатор, водопомпную станцию, ремонтировать дорогу или менять провода, — он, случается, тратит и свои: ничего, “садовые” потом без скрипа компенсируют. Лихоманы обходят “Полет” стороной: Кириллов помогает гастарбайтерам найти работу, а те — в благодарность — присматривают за порядком. А сам Кириллов на крутом вираже облетел налоговую, ибо: “В чрезвычайных ситуациях СНТ “Полет” может служить базой для размещения слушателей из профессорско-преподавательского состава для подготовки военных кадров и земельным налогом не облагается”. Я дивлюсь: не еврей ли он часом? Кириллов смеется и зовет меня на Троицу в Чувашию. Желание поделиться родиной у него — высшая степень доверия.

Мы дружим, но не на равных. Его жизнь завораживает меня от и до, моя же не очень его занимает. Но иногда, уловив интерес, рассказываю о себе — как стал писателем, сколько получаю, ругаю сына Димку, живущего в Монреале: делом не занимается, только детей разводит. Кириллов обескуражен: есть сын, нормальный, целый, какого ж еще рожна! Мне кажется, он хочет рассказать что-то про своего сына, что-то запретное, тайное, но...

Военным летчиком он стал, чтобы защищать родину, когда начнется война с Америкой. Я пошутил, что нашу родину следует защищать от собственного государства.

Мое остроумие ему не пришлось. Это был единственный раз, когда наши отношения напряглись. В основном на прошлую жизнь мы смотрим одинаково: Ленин, Сталин, Советская власть — все уроды. В небе, опираясь крыльями на плотный чистый воздух, Кириллов четко знал, что делать, как жить и для чего; когда опускался на землю — ноги вязли во лжи. Но до конца он не сдается, стоит на своем: коммунизм и христианство из одной купели. Как-то я рассказал, что у меня жена полька. Кириллов оживился: в 81-м его из академии Фрунзе, где он преподавал “Боевое применение авиации”, командировали в Гродно: якобы — на учения, на самом же деле для разработки плана вторжения в Польшу. Его вызвал замминистра генерал Варенников. Кириллов приватно изложил свои соображения о нецелесообразности применения авиации. Выходит, помог Польше, рикошетом — моей жене, стало быть — мне.

Я внимательно слушаю его успокаивающий баритон, и в такт пульсу поскрипывают волосы у меня в ухе — от усердия.

Когда отца Кириллова, кулака, сослали, запахло голодной смертью. Но мать, решительная женщина, планомерно спойла самогоном главного деревенского активиста, соблазнила и добилась своего: активист написал в район, что вышла ошибка. И чудо случилось — отца вернули из ссылки. А в 34-м родился Кириллов.

От желтухи мать заставляла его есть вшей. По дороге в далекую, за дремучим лесом, школу отплеывался от волоков горящим керосином. Этот запах так и остался с ним на всю жизнь: керосин — самолетное топливо.

Первый раз женился опрометчиво, на последнем курсе, — намеревался расстаться с девством, а получилась беременность. Пошли дети. Он перемещался с семьей по стране, легко вживаясь в новую географию и должность — командир звена, эскадрильи, отряда, полка. Полковника получил в тридцать три года. В самолет семейные проблемы не брал, а молодых летунов наставлял: “Полет не работа, а праздник! Небо плохого настроения не любит”.

В сельское хозяйство Кириллов не упирается: огурцы с помидорами для него хорошо растут на рынке. А недавно ему плюнули в душу. Один залупистый садовод засомневался в чистоте открытого Кирилловым магазина: имеет, мол, откат. Собрание заинтересовалось. Кириллов послал собрание и ушел из председателей.

— Рядовой Каледин! — скомандовал он в начале этого лета. — Доложите, чем заняты?!

— Сочиняю про полковника Кириллова рассказ для журнала “Огонек”.

— От-ста-авить! На Троицу едем в Чувашию!

Я живу на первом этаже в центре Москвы. На площадке я и сосед-итальянец, коммивояжер. От лифта мы отделились железной дверью. Италиянец вояжировал, квартира пустовала. Но подобрался кризис, итальянец сдал квартиру вежливой миниатюрной блондинке на красном “мерсе”. Блондинка организовала в квартире эксклюзивный бардачок. Вечеру чаровниц навещали немолодые степенные клиенты. На первых порах все было тихо. В глазок я видел, как в предбанник выпархивала барышня в полупрозрачном пеньюаре и, прижав палец к губам, проводила клиента

к себе. Потом девушки оборзели: стали днем попивать, заводить громкую музыку. Клиенты пошли молодые, нетрезвые, дерзкие. Они курили у лифта, шумно обмениваясь впечатлениями. Иногда путали звонок, устремлялись в нашу квартиру и ошалело озирались в прихожей среди книжных полок, пока несвежая, но юркая дева не забирала клиента.

Кириллов заехал за мной в три часа утра и перепутал звонок: ему открыла голая бухая малышка. Когда я через глазок понял ошибку и выскочил в предбанник, передо мной мелькнула только очаровательная попка с красной веревочкой посередине — дверь захлопнулась. Я требовал вернуть летчика, но барышня посоветовала идти спать. Я пригрозил милицией — Кириллова с трудом отдали.

Чувашия!.. Благословенный край! Женственные холмистые просторы. Еще не выжженная степь звенела райскими звуками. Волга!.. Мы решили искупаться. На горизонте небо целовалось с голубой водой — второго берега не видно. Чистейшая река — пароходы нынче плавают редко — медленно зарастала волнистыми водорослями. И тишина. Ни тракторов, ни крестьян, ни крупных рогатых скотов, лишь возле дороги на веревке бродила одинокая коза. Кириллов сделал стойку на руках и сказал вниз головой:

— Все-таки надо ехать, ждут, так сказать.

На шоссе Кириллов разогнался.

— Превышаем, — заметил я скромно. — Так и на кладбище недолго. Сынок ваш чуть не угодил..

Кириллов сбросил газ и сказал через паузу:



Молодой летчик А. Кириллов.

— Сережа — не превысил. Он сам себя изуродовал...

— ?

Сын жил с матерью. После армии Кириллов определил его в институт. По субботам ходил с ним в баню — обычные отношения папы выходного дня с сыном: как дела, что с учебой, есть ли девушка? Однажды что-то Кириллова насторожило. На всякий случай позвонил декану-товарищу, оказалось, сын полгода не появляется в институте. Кириллов решил: пришло время как следует продуть сыну мозги. Но Сережа позвонил первым: “Я есть хочу”. Кириллов понял — что-то не то. Когда примчался, мозги продувать было поздно. Сын выколол себе глаз и отрубил руку. Кириллов вызвал “скорую”, а с отрубленной еще теплой кистью понесся во двор — сохранить ее в холоде — в снегу, во льду... Но понял, что это не кино.

В академии Кириллов не пропустил ни одной лекции, но стал замечать недоуменные взгляды курсантов — разговаривал сам с собой. Тогда он выходил из аудитории — очухаться.

Сережу выпустили из дурдома. Шизофрения. Через год он ножовкой отпилил себе ногу. Как и в прошлый раз — без болевого шока.

К обеду мы приехали в деревню. Хрюкала свинка в закутке, петух нервно клевал землю, в пыли резвились игрушечные котята. За огородом дымила кособокая банька по-черному. Изба Анфисы — родительский дом — была точь-в-точь дача Кириллова.

На комодѣ стояла его фотография в генеральской форме.

— Анфиса, я все же полковник, так сказать. — Впрочем, недовольство брата было не очень активное. — Ты зачем на меня дом записала?..

Анфиса, моложе брата, с мобильным телефоном на груди, не соответствующая своему имени, теребила концы платка:

— Может, когда поживешь здесь... Или обоя — с фершалом...

Кириллов засмеялся и обнял сестру.

Но в разговор встрял многолетний сожитель Анфисы Илья, на голову ниже ее, басовитый, насупленный, ноздри у него были запорошены нюхательным табаком:

— И я грю, зачем ему в Москве твоя халупа на-а... — И недовольно забормотал непонятное.

Кириллов внимательно выслушал зятя, сделал паузу:

— Еще раз, Илюша, и помедленней.

За стол с нами Анфиса не садилась: дела — огород. Кириллов настоял, чтоб села, развязал косынку и гребнем стал расчесывать ей волосы.

— Илюш, ты хоть иногда жену-то целуешь?

— Чего я буду, грю, чужие слюни сосать на-а...

Кириллов выдул из гребня легкие седые волосы сестры.

— У нас мама была строгая, на ночь пить не разрешала, как бы я не описился. Анфиса меня жалела: наберет в рот воды и украдкой давала пить. Изо рта в рот.

— Вот и я грю, на-а... — сказал Илья, опрокидывая в мокрую пасть стопку.

Деревня разбросалась по крутым склонам глубоких оврагов. Крохотные, одинаковые мастью и размером телята-

близнецы гармонично вписывались в вечерний закатный пейзаж. Взрослое стадо помыкивало вдалеке, возвращаясь с бывших колхозных полей.

Утром в церковь, убранную березовыми ветками, пришло семнадцать старух и один дядя с бородой, похожий на Льва Толстого. В левом приделе скромно лежал, никому не мешая, покойник. Кириллов прильнул губами к образу Спасителя и там, где семьдесят лет назад молился со своей теткой-монашенкой, опустил на колени. Я постоял с ним за компанию, но заболела спина — перебрался на скамейку для убогих.

За все время нашего общения я ни разу не видел, чтобы он крестился; сейчас губы его шевелились. О чем он говорил с Богом: о сыне, о жене, о Нине? О чем просил? От чего зарекался?..

После службы батюшка запер усопшего в церкви, и втроем мы покатили на кладбище. Отец Семен оказался племянником Кириллова.

— Удивляетесь, — спросил меня батюшка, — мало народа на службе? Да, село большое, а в церкви пусто. Хорошо хоть столько. Православие у нас еще не укоренилось: мы же когда? — только в шестнадцатом веке в Россию вошли! — И засмеялся, открыв из бороды ровные белые зубы. — Сейчас весь наш народ на кла-а-дбище.

И верно: на кладбище дым коромыслом! Столы на могилах ломились. Народ барражировал вокруг родных могил, не создавая заторов. Повсюду на памятниках, мраморных досках, трафаретах мелькала фамилия Кириллова — сплошная родня. Народ гулял — слез я не заметил. Мы обошли, не чокаясь, с десяток могил: от скромной, дедовской, до шикарной с двумя памятниками из синего

лазурита — племянникам Кириллова, застреленным бандитами-коллегами. Кириллов перекинулся по-чувашски с вдовами племянников, мелькнуло по-русски “писатель”. Вдовы пригласили нас за гранитный роскошный стол с икрой и “Мартелем”. Пока я доставал из сумки книжки для подарка, они успели освежить помадой губы.

На могиле родителей Кириллова отец Семен отслужил молебен. Двоюродный брат Кириллова, бывший второй секретарь, загнал меня в угол ограды:

— ... Вот вы пишете, что все плохо в провинции. А мы религию разрешили — пожалуйста..

Кириллов на этом языческом празднике был дорогим гостем. Его окликали, тянули, целовали. Здесь он был: “товарищ генерал”, “господин полковник”, “Александр Кириллович”, “дядя Саша” и “Санек” — национальный герой, второй после космонавта Андриана Николаева!

Перед нашим отъездом Анфиса прижалась к брату:

— Ты уедешь — я буду по тебе голодать.

На обратном пути Кириллов опять разогнулся — спешил на вторую родину.

— Превышаем, — сказал я.

Кириллов не отреагировал. Мы пролетели еще верст сто.

— Вот так и живем, — улыбнулся Кириллов. — Год ждем Троицу, год вспоминаем. А ты говоришь — кладбище, так сказать.

Родные, прощайтесь

Разбирая бумаги отца после его смерти, я наткнулся на фотографию голой женщины с распущенными волосами. Разглядывая снимок, я с запоздалым интересом узнал своего тренера по плаванию во Дворце водного спорта на Мироновской, куда папа Женя определил меня в первом классе, потому что сам плавать не умел. Тренерша была строгая, дочь мирового рекордсмена по баттерфляю, героя войны.

Девятого мая он пришел к нам, пошатываясь, на тренировку посмотреть, как работает дочь. Остался недоволен. Разделся до длинных трусов и огромный, пузатый, с искаленной рукой нырнул в воду. Пролетел полбассейна под водой, а на вторую половину истратил лишь несколько взмахов волосатых ручищ, залезая всем туловищем на воду как на твердь. Скорость его была против физики. Какая там бабочка баттерфляй! Чудище морское, разверзающее хляби океанские! По дороге он потерял трусы, они осели на дно. Я нырнул за ними. На суше он равнодушно принял их, побарабал толстым пальцем в ухе и прорычал напоследок: “Не спать в воде! Р-работать!”

Через год мы с папой Женей и с тренершей Ниной Семеновной поехали на Тишковское водохранилище. Она сказала, что теперь научит плавать и папу, и они уплыли на лодке учиться, оставив меня помешивать уху.

— Слушайся Нину Семеновну! — крикнул я им вслед. — Главное: поставить дыхание!..

Учение затянулось — мы опаздывали на электричку.

— Быстрее, Серьга! — весело кричал папа, на бегу голося поезду.

— Быстрее, Серьга! — радостно вторила ему Нина Семеновна.

Электричка тронулась, но вдруг раздумала, остановилась.

— Быстрее, Серьга! — высунулся из окна машинист и открыл двери по новой.

В те времена наша махонькая квартирка в Басманном переполнилась: мама Тома, несмотря на развод с папой Женей, родила незапланированную дочку, а бабушка Липа прописала вернувшуюся с Колымы племянницу из Собинки. Почти лысая, беззубая, она рассказывала бабушке Липе, как в лагере весной на первом солнышке двумя нитками подкручивала себе ресницы, чтобы быть красивой, зная, что красивой ей никогда уже не быть. Ее положили на моей раскладушке под столом, а меня мама Тома попросила пожить у папы Жени в Уланском.

В Уланском мы с папой Женей спали валетом на диване в темной половине комнаты, а в светлой, за сюзане с голубыми павлинами, жила тетя Зоя с мужем. Вечерами у них, потрескивая, тихо бормотал на иностранном языке трофейный приемник — дядя слушал новости. Ночью по потолку одной и той же тропинкой бежали блики от фар проезжавших глубоко внизу редких бесшумных машин.

На чердаке под древними черными стропилами папа Женя устроил тир для меня со товарищи, пока нас не выгнала лифтерша. Но и без тира жизнь была распрекрасной: дача в Зеленоградской с изразцовой печью и старинной фисгармонией, на которой папа Женя умудрялся играть “Осень выкрасила клены колдовским каким-то цветом..”, лыжи, коньки на Чистых прудах.. Папа Женя баловал меня по первому разряду. Завтрак накрывал на табуретке, но какой! Икра, осетрина, буженина и кофе с молоком, сваренный в гнутой кастрюльке. Когда я опаздывал в школу, папа Женя брал такси. Я просил его быть осторожным, чтоб не попал под машину. А после школы, соревнуясь с папой Женей, меня закармливала бабушка Липа в Басманном и с удовлетворением расставляла на швейной ножной машинке “Тритцнер” мне форменные брюки сзади клином другого цвета. Вечером папа приносил пирожные безе, еще горячие, которые пекли в кондитерской на Кировской. Я утаптывал три пирожных в пол-литровую банку столовой ложкой с гравировкой “Гренадерский Астраханский полкъ. Полковникъ М. И. Пестржецкий. 1911 г. Мая 17”, брал бессменную книгу “Без семьи” Гектора Мало и блаженствовал. Я толстел и был счастлив.

Тетя Зоя не работала, сидела дома, штопала носки, читала мне вслух “Мифы Древней Греции”. В соседней комнате за ширмой жила бабушка Саша, а напротив ширмы, на диване, — дедушка Саша. Бабушка Саша была постоянно занята — по доброй воле расшифровывала стенограммы партсобраний ЖЭКа. В начале жизни бабушка Саша любила царя и в Первую мировую как сестра милосердия летучего отряда получила немецкую пулю в “верхнюю треть бедра”. Потом любила меньшевиков, Троцкого. Но это



Тетя Зоя и папа Женя, начало 20-х годов.

оказалось ошибкой. Тогда она стала любить правильно — Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева. Помню ее в старинном английском неудобном кресле с прямой спинкой, в пенсне, со старомодными буклями, как у Вольтера. Скрипело перо... Иногда она отрывалась от писанины — вспоминала, что меня надо приучать к трудолюбию примерами из собственной жизни.

— Саша!..

На ее оклик на диване с валиками покорно оживал дедушка Саша. Включал старинную лампу под оранжевым абажуром — обнаженную женщину в гривуазной позе.

— Саша, ты помнишь, как я мыла полы у нас в Трубниковском?..

Дедушка, спросонья, не ухватывал педагогическую суть вопроса.

— Да-да, Шурочка, конечно. Полы в Трубниковском... Наборный паркет... Вестибюль, где у вас стоял белый рояль. И сенбернар кусал свой хвост. Чарльз, если не ошибаюсь.

Как-то в Уланский пришла заморенная женщина в толстых очках на веревочках, с клюкой.

— Папа, дай рубль, там нищенка пришла!..

Папа Женя вынес милостыню и вдруг засуетился... Помог нищенке снять телогрейку, пригласил в комнату родителей. “Нищенка” оказалась нашей соседкой Миррой Абрамовной, раньше проживавшей в комнате напротив, где теперь жил майор милиции, мой друг дядя Толя.

Бабушка Саша ушла в консерваторию, а дедушка Саша, как обычно, дремал на диване.

Папа достал бутылку “Салхино”, и тут вернулась бабушка Саша.

Гостья встала.

— Здравствуйте, Александра Сергеевна.

— Женя, — ровным голосом сказала бабушка Саша, — я не разрешаю принимать в моей комнате врагов народа.

— Мама!..

— Женя, оставим пререкания.

Учился я плохо, хотя папа всюду дрессировал меня по математике, физике и даже химии. Тетя Зоя предлагала маме Томе отдать меня в колонию ученика Макаренко, о которой ее подруга по ИФЛИ Фрида Вигдорова написала замечательную книгу “Дорога в жизнь”. Я тоже умолял маму отдать меня в эту удивительную колонию, но она не решилась.

С папой Женей и дядей Толей-милиционером мы ходили в зоопарк. При входе в просторной клетке сидела небольшая серая птица — “сыч”. У сыча никто не останавливался, все шли к красивым шерстистым зверям. Угрюмый сыч сидел нахохлившись, как бесплатный привратник зоопарка. Я кинул ему соевый батончик “Рот Фронт”. Папа Женя с дядей Толей пили пиво, папа пил за компанию, из дружбы — в жизни он пива не любил. Дядя Толя рассказывал, как во время войны был связистом-кавалеристом, грел замерзшие руки в гривах лошадей. Лошади не умели ложиться под огнем — гибли. Поступало пополнение лошадей из Монголии, но они не понимали русских команд.

Потом я кормил слона теплыми бубликами, предварительно объедая гнутые поджаристые корочки. В мутной воде плавал желтый белый медведь. Дальше — по клетке метались волки. У них были страшные глаза, казалось, им тяжелее всех превозмогать неволю. Потом мы шли в пла-

нетарий. После жаркого солнечного дня — заворачивающая бездонная чернота звездного холодного неба. Дядя Толя звал папу Женю Евгешей.

А под конец воскресенья отправлялись в Староконюшенный к родне пить чай. За огромным круглым столом под абажуром, заставленным вазочками с разноцветным вареньем, серебряными сахарницей, конфетницей и молочником, сидели многочисленные старушки в кружевных воротничках. Они шелестели о своем, не совсем мне понятном. Их родственные пересуды были неизменно доброжелательны. После переполненного событиями дня я в этой Христовой паузе начинал засыпать.

Папа Женя коммунистов не читил, но личной обиды на них в семье не было — сидел три года только один дальний родственник за анекдот, — и в партию папа Женя вступил по просьбе бабушки Саши, походя. Преференций от партии никаких не возымел.

На Новый, 2000-й год папа Женя прибыл в длинном кожаном пальто с енотовой подпушкой и в роскошной собольей тиаре. О происхождении умопомрачительной обноты умолчал. Бессмысленное подвирание папы Жени — “на всякий случай” — всю жизнь бесило маму Тому и было одной из причин их развода; отваживало и меня.

Откуда у него боярский прикид, я догадывался, не иначе — от дорогого покойника, дяди Левы, не одолевшего старость, случайную смерть молодой жены и победу демократов в 93-м. У него долго не отвечал телефон, папа Женя вызвал меня. Дядя Лева мирно спал на спине в костюме с галстуком. На груди у него работал приемник —

бомбили Белый дом, который был виден из окна: взрывы по радио опаздывали от живой картины.

На столе — записка: “Я прекращаю жизнь при помощи снотворного по собственной воле. Распоряжение имуществом оставляю своему двоюродному брату Жене Беркенгейму. Женька, дорогой, будь здоров. Лева”.

Я рвался смотреть танки, но отец не хотел меня отпустить, говоря, что боится покойников. Я знал, что это ложь: усопших папа Женя чтит без страха и упрека. Но он все-таки принудил меня к послушанию, выделив из наследственной массы весь эксклюзивный алкоголь дяди Левы, старинные графинчики и полуметровую кипу непечатых колготок — для жены.

Дядя Лева был семейным раритетом: на фото, мальчиком, стоял возле американского трактора; на плечо ему положил руку Ленин, а с трибуны выступал отец дяди Левы, которого в 30-х расстреляли. Дядя Лева, седой барин-еврей в шевиотовом пиджаке, работал референтом министра по цветным металлам. Он смешил меня письмами в стройбат: “Сержик, я в Замбии. Здесь одна половина населения добывает медь, а вторая кушает первую”. Папу Женю дядя Лева обожал с младенчества, они вместе играли в домашнем спектакле, который ставила бабушка Саша: дядя Лева — Тома Сойера, а папа Женя — Бекки Тэтчер. Под самый конец дядя Лева просил папу переехать к нему на доживку; папа Женя было согласился, но не спешил — прикидывал, не ограничит ли это его свободу, и — припозднился.

В ожидании новогодних гостей папа Женя прошелся по квартире, вступил на весы — остался доволен: “Пока вес выносимый”. Я вышел проверить почтовый ящик. Окольными путями — через издательство — пришло письмо.

Здравствуйте уважаемый Сергей Каледин. Меня зовут Максим Голиков. Я прочитал ваш рассказ про стройбат, мне понравилось. Мой брат тоже служил в дисциплинарном батальоне в Совгавани. Я отбываю наказание на Можайке за драку. Сначала я был злой на суд, потом раскаялся, я виноват. И брат тоже сидит по ошибке в Соликамске. Моего отца убили в тюрьме. У брата открылся большой туберкулез, он может скоро умереть. У него нет достойного лечения. У мамы рак, но она ездит к брату и всю дорогу плачет. Очень прошу вас достать медвежье сало для туберкулеза...

Папа Женя поморщился:

— Не связывайся, сынок, с бандитами...

А на исходе зимы вдруг позвонил:

— Достал медвежье сало, в морозильник не лезет. Забери.

— Где взял? На охоту ходил?..

Но папа Женя, как всегда, уклонился от ответа.

К тому времени мне расхотелось писать, я маялся от безделья.

— Иди в школу, — сказала мама Тома. — Лучше — в ПТУ. Расскажешь что-нибудь детям. Иначе — сопьешься.

Пошел в школу, из которой меня когда-то выгнали, но оказался не нужен. Я приоделся, надушился, нацепил перстень для солидности — и в ПТУ, где девочки учились на швей. Там предположили нехоршее.

— Бесплатно! — орал я. — За так!..

Директриса пригрозила милицией.

— Ну, тогда в тюрьму тебе дорога, — вынесла вердикт моя подруга Люся Улицкая.

Окончательно решил вопрос Достоевский, которого я тогда перечитывал.



Бабушка Саша (вторая слева) на фронте, 1914 г.

...Я давно порывался туда, но не удавалось. А тут вдруг и свободное время, и добрые люди, которые... вызвались все показать... Мы..въехали в лес; в этом лесу и колония... Что за прелесть лес зимой, засыпанный снегом; как свежо, какой чистый воздух и как здесь уединенно¹.

Я ждал в приемной, а в кабинете начальник Можайской воспитательной колонии полковник Шатохин мучил ребенка: “Кто слезу набил?! Говори кто?!” Пытуемого увели — зареванное малохольное дитя в черной робе, на груди белая нашивка “Коля Сарафанов. 2 отряд”.

Полковник Шатохин меня не читал, но смотрел фильм “Смирненное кладбище” — знакомство упростилось. Я достал паспорт и членский билет Союза писателей. Шатохин, прикрывая ладонью блокнот, переписал документы.

— Беда-а... — Он почесал лысину, один глаз у него подергивался тиком. — Новенький. Опустили в СИЗО по ошибке и пометили — “слезку” кольнули. А малец здесь скрыл и ел со всеми. Дознались, негодяи, чуть не убили, если бы не заступник один...

— А как заступника зовут?..

— Максим Голиков.

Шатохин повел меня в узилище. Лязгнули четыре смыка — железная дверь распахнулась, и я шагнул в Зазеркалье...

Раньше Шатохин командовал Карлагом. В начале перестройки его послали из Караганды в Польшу набраться опыта. По возвращении он начал переделывать тюрьму на демократический лад. И ходить бы ему в генералах,

¹ Ф. М. Достоевский. *Дневник писателя. Колония малолетних преступников.*

но подвело незнание казахского языка — пришлось менять страну.

До него Можайка была “красной” и “сидела на кулаке”. Переростков после восемнадцати на взрослую зону не переводили — оставляли досиживать здесь. Из них формировался актив, который следил за порядком — мордовал малолеток. Летом активисты помогали начальству на дачах по хозяйству.

Первым делом Шатохин отправил актив досиживать “на взросло”. Там их за беспредел наказали по полной, и на Можайку обратной связью пришел наказ от старших — жить по понятиям. “Красная” Можайка стала темнеть, но мордобой прекратился, прекратились и жалобы родителей в прокуратуру. Шатохина командировали в Норвегию. Там он набрался прогрессивных вшей и по приезде вконец разошелся: распахнул колонию правозащитникам и религии — православной, протестантской, вплоть до кришнаитов и баптистов, кроме католиков, которых считал вроде прокаженных. Завел выгодных кроликов (мясо — в котел, шкурки — на продажу), но неудачно: кроликовод запил, кролики сдохли. Двум сидельцам-студентам продолжил учебу заочно с выездом на сессии; оживил поощрительные отпуска.

Шатохина начали шугать. В ГУИНе ему присвоили сомнительное погоняло — Гуманист и объяснили, что мировые стандарты — это хорошо, но есть и отечественные традиции, которые нарушать не след.

...Из сугробов по обеим сторонам лысой аллеи росли портреты усатых генералов — героев Бородина. Ребята конопатили свежесрубленную душистую церковь. Вдоль забора основного ограждения по проволоке бродила кудлатая неопасная собака.

— Шатоха! — позвал Шатохин. Собака завиляла толстой попой. — Тезка моя.

В спортзале пацаны репетировали битлов в странной для русского глаза военной форме с гербом Норвегии на рукаве. Готовили под руководством отца Даниила, молодого монаха в подряснике, настоятеля Никольского храма в Можайске, подарочный концерт на 8 Марта в женскую колонию по соседству. Отца Даниила я знал давно, он сослуживал у нас в алексинской церкви, когда я там работал истопником. Я собирался у него креститься. Под баскетбольным кольцом норвежский пастор Бьёрн из тюрьмы-побратима Уллершмо в черной рубашке с белой вставочкой — коларом — общался с узниками. Прежним начальником колонии старый варяг был недоволен, прознав о нецелевом использовании пожертвований, и отношения прекратил. Шатохин, хитрый лис, в Норвегии дружбу возобновил. Но теперь пастор стал возить помощь самолично.

— Дэни! — позвал он отца Даниила. — Хелп ми!

Отец Даниил передал электрогитару высокому пареньку с пронзительными синими глазами и поспешил помочь коллеге с переводом.

— А вот и Голиков, — указал на гитариста Шатохин.

— Привет, Макс. Сало медвежье заказывал? Папа Женя достал.

— Спасибо. Не надо. Брат умер.

— Максим Голиков! — громко сказал репродуктор женским бархатным властным голосом. — Срочно зайти к психологам.

Я подошел к пастору.

— Гутен так.

Пастор кивнул и продолжил разговор с пацанами в переводе отца Даниила.

— Бог вас всех любит. И тебя и тебя.

— Покрестите меня в лютеранство, пастор Бьёрн, — неожиданно для себя брякнул я. — У меня жена финка. Отец Даниил, переведите, пожалуйста.

— Сергей! — одернул меня отец Даниил, но перевел.

— Сейчас? — не удивился старик. — Не будем торопиться. В следующий раз. Гут?

— А я все-таки не понял, вы чего от нас-то хотите? — спросил Шатохин на выходе из спортзала. — Школу желаете посмотреть, капремонт сделали?

— ...Может, кружок литературный?.. — запоздало пожал я плечами, ибо сам толком еще не знал, что забыл в этой колонии, но Шатохин меня уже не слышал.

В школе Шатохин меня бросил — спешил проводить пастора. Я попал на урок математики — сборный. Пожилая толстая учительница виртуозно рулила разнокалиберными учениками. Кто плюсовал палочки, кто делил-множил, а Коля Сарафанов у доски переводил обычные дроби в десятичные.

— Давай помогу, — шепнул я ушастому неласковому соседу по парте. Он пихнул мне тетрадь. Все пальцы его были в перстнях-татуировках.

Я бодро взялся делить в столбик $910\ 532$ на $13,5$... Не делилось. Я полез за мобильником — там калькулятор. Но забыл, что сдал его на вахте.

К нам вперевалочку подошла бабушка-учительница.

— Сейчас поде-елим. Все у нас полу-учится. Сарафанов!

Коля, стуча мелом по доске, мигом поделил все как надо.

— Хорошо бы у вас компьютерный класс открыть.. — подумал я вслух. — Вы компьютер знаете?

— Узна-аю, — улыбнулась бабушка. — Было бы болото — лягушки напрыгают.

После школы я, уже без сопровождения, завернул в отряд Макса посмотреть, где он живет.

Все... воспитатели... живут с воспитанниками совсем вместе, даже носят с ними почти одинаковый костюм — нечто вроде блузы, подпоясанной ремнем... Гуманное и до тонкости предупредительное обращение с мальчиками воспитателей... мне кажется, не совсем достигает... до сердца этих мальчиков... Им говорят вы, даже самым маленьким. Это вы показалось мне здесь несколько как бы натянутым, немного как бы чем-то излишним... Каждый воспитатель... не только наблюдает за тем, чтобы воспитанники убирали камеру, мыли и чистили ее, но и участвует вместе с ними в работе...¹

В отряде шло дежурное построение. Воспитатель, прыщавый лейтенант — недомерок в преувеличенной фуражке, — меня не видел.

— Голиков.. Голиков!.. Где он, козел ё... й?!

— Метлу помой! — раздалось из строя. — Пивень зарыганный!

— Кто пасть открыл?!

— Он у психологов, — всунул я. — Добрый день.

— Здравия желаем, — буркнул недомерок и продолжил переключку.

1 Ф. М. Достоевский. *Дневник писателя. Колония малолетних преступников.*



Мы с бабушкой Сашей, 1960 г.

На стене кабинета психологической разгрузки по фотообоям среди кувшинок плавали пыльные лебеди — для релаксации. Макс за высоким фикусом чинил компьютер. В ободранном авиакресле без подлокотника сидела белая крыса с красными, как у неправильной фотографии, глазами и грызла ванильный сухарь с изюмом, придерживая его, по-белочки, обеими лапками.

— Крыся, дай, — сказал Макс.

Крыся послушно протянула мне обглодок, но испугалась и юркнула Максу в рукав, оставив хвост снаружи. Он вытряс ее, погладил.

— Не бойся. — И запер в накладной карман куртки. — Компьютер работает.

— Спасибо, Макс, — сказала хозяйка кабинета капитан Ирина знакомым бархатным радиоголосом, подправляя губы перед зеркалом.

В лабораторию всунулся негритенок, очень черный, натуральный.

— Злой, тебя поп нерусский ищет, хочет гитару прислать.

Ирина одернула юбку.

— Макс у нас нарасхват.

— “Жизнь моя кинематограф, черно-белое кино...” Откуда чудо заморское?

— Из Камеруна. — Ирина снова мазнула зеркало взглядом. — Пол-Калуги на иглу посадил. А у самого ВИЧ, чему он несказанно рад — освобожден от работы во избежание травматизма.

В кармане Макса уже в дверях вякнул запрещенный мобильник.

— М-макс! — нервно дернулась Ирина, бросив на меня быстрый взгляд. — Концы заметай.

— Все понял, — кивнул Макс и исчез.

— А давайте Макса усыновим, на пару?

— Какой вы сензетивный, однако, — покачала головой Ирина, собирая бумаги со стола. — У него мать есть... Маркитантка вечная, острожная жена... Не вздумайте кого-нибудь усыновлять из наших.

— Почему?

— Потому что — не справитесь, — с нажимом сказала Ирина. — Они не шалуны, а преступники. С изуродованной психикой. Хотите помочь — помогайте, но без судорожных телодвижений. И не думайте, что у вас — душа, а у нас — балалайка.

Ирина подошла к зарешеченному окну, за которым медленно падал идилический снег.

— Как от вас, Ирина, хорошо духами пахнет, запах резкий, но женственный...

Ирина хмыкнула, хотела сдержаться, но не выдержала, рассмеялась:

— Это не от меня, а от вас... Руками машете — не продохнуть. В тюрьме душить нельзя — поймут неверно. И совет на будущее: не пишите про тюрьму — не получится.

Я зачастил в колонию. Шатохин выдал мне постоянный пропуск и сказал, что могу привозить кого хочу, лишь бы — прок. Литературный кружок не задался. Пацаны, слушая меня, зевали, чесались, глаза их подергивались тусклой пленкой, как у зимних курей. Им нравилось только фэнтези и про бандитов. Я говорил приподнятым неестественным голосом, стараясь их расшевелить, а на личиках их читалось: “Чего ты сюда приполоз, козел лысый?”

Я попросил по телевизору помочь Можайке — меня завалили книгами. Привез в колонию. Библиотекарьша

схватила за голову: куда ставить? Но бодаться не стала. Два года назад пацаны, бунтуя, взяли ее в заложницы, с ней случился удар, теперь она старалась избегать волнений.

— Да не читают они, — лишь вяло сказала она.

Я видел их “библиотеку” — ... Тургенев, Островский, Лермонтов, Пушкин и т.д.. Ни Пушкин, ни севастопольские рассказы, ни “Вечера на хуторе”, ни сказка про Калашникова, ни Кольцов (Кольцов даже особенно) непонятны совсем народу. Конечно, эти мальчишки не народ, а, так сказать, бог знает кто, такая особь человеческих существ, что и определить трудно...¹

Математическая бабушка-учительница поспешила донести школьной директрисе про компьютерный класс, о котором я трепанул, не подумав, и та теперь смотрела на меня вопросительно: за базар отвечаешь? Я кинулся искать спонсоров. Основные надежды возлагал на женщин: богатую грузинку, которая по-матерински, со слезой, слушала мои тюремные байки, и итальянку, русскую еврейку из Милана, которая в Москве раскрутила ювелирию.

— А ты Ходорковского попроси, — задумчиво посоветовал папа Женья, но тут же осекся.

“Открытая Россия” Ходорковского открыла на Можайке компьютерный класс, хотя сам хозяин одной ногой уже сидел в тюрьме. Над дверью класса я прибил табличку: “Подарок М. Б. Ходорковского”. На следующий день табличка исчезла, но авторитет мой в колонии вырос. Подоб-

¹ Ф. М. Достоевский. *Дневник писателя. Колония малолетних преступников.*

рела даже учительница литературы, которая до того смотрела на меня волком, полагая, что я покушаюсь на ее место.

Я выбирал день, когда дежурила Ирина, и она водила меня по колонии, стараясь держаться впереди, чтобы я мог оценить ее стати. Меня занимал Макс.

— Погоняло — Злой, а на самом деле очень добрый парень, — сказала Ирина, — вернее, справедливый. Составил правила, регламентирующие жизнь малолетки. Сейчас их утверждает “взросляк”. Если старшие одобряют, у ребят будет законодательство. А вас-то как сюда занесло? — поинтересовалась она. — По сердоболию или — душеньку потешить?

— Во всяком случае, не из голимой филантропии. Скорее, из эгоизма. Обрыдло все в одночасье, подумал, может, это заинтересует. А спасать страждущее человечество?.. Нет. Про это хорошо читать у Достоевского... Кстати, а что в остроге самое страшное?

— Проверяете, — усмехнулась она. — Не трудитесь. Отсутствие одиночества.

Ирину, “ндравную” красавицу, занесло в зону сдуру, но уйти на свободу на хорошие деньги и спокойную жизнь по собственной воле она была не в силах. Тюрьма была для нее наркотиком. Работу она любила и творила чудеса, выправляя самые запущенные безнадежные мозги. Пацаны ее ценили, но все равно, когда она проходила мимо строя, ее сопровождал совокупный шелест: “Кис-кис-кис...” Она постоянно долбила лысину Шатохину, что малолетка — не исправительная колония, а воспитательная. Мое любопытство она пресекала на корню, не комментируя:

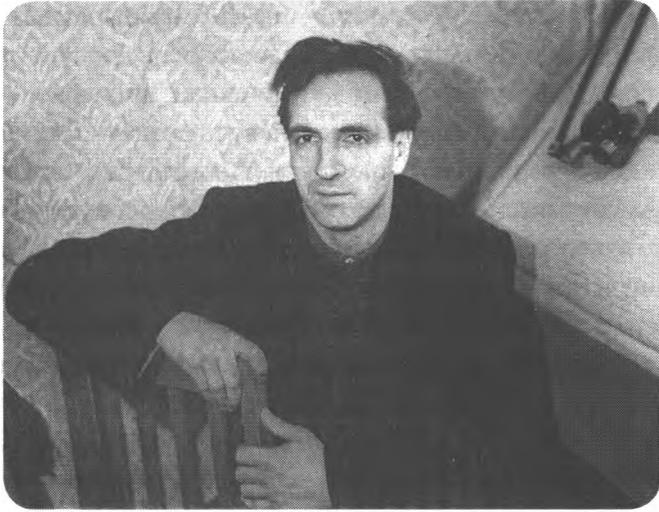
— Здесь не кладбище — ничего не накопаете. Здесь жизнь — ночная, дневному глазу не видная, и — страшная. Заканчивайте экскурсию, а то засосет.

А я прилип к “Можайке”, как в детстве языком к медной заиндевевшей дверной ручке на даче в Зеленоградской. Тогда меня чудом отлепил папа Женя — полил теплой водой на ручку. Сейчас папа Женя, как всегда, опасался последствий, но от тюрьмы меня не отваживал — ему нравилось, что я споспешествую *бросовым* детям. В былые времена нашей соседкой по Уланскому была Танька-полупроститутка. Она родила девочку-хромоножку, очень смышленную. Потом Таньку лишили материнства, а девочку отдали в детдом. Папа Женя втихаря навещал ее. Так длилось годы, пока заведующая не заподозрила, что он и есть отец ребенка. Папа Женя струхнул и девочку бросил, что долго переживал и, переживая, проболтался маме Томе. Мама Тома матом объяснила ему, кто он после этого. Позже папа просил меня разыскать девочку. Я пошел в детдом, но там сказали, что она в колонии в Новом Осколе.

К лету я разгулялся и завлек “на Можайку” Валерия Золотухина. И позвал папу Женю. Он привычно испугался, но поехал. И даже напек пирожков с рисом и капустой.

Клуб был набит до предела — огромный, советский, с потолком таким обветшалым, что через него проглядывало голубое небо. Персонала оказалось больше, чем узников. Золотухин пел, рассказывал про Высоцкого... Пацаны внимали слабо. Я сидел в зале среди них и диву давался: ничего их не интересует! Лица равнодушные. Только затаенная злоба на весь мир в глазах. Папа Женя опасливо поглядывал по сторонам. Я подумал: а если они сейчас вдруг взбунтуются, ведь порвут нас с папаней в два счета, никакой персонал не поможет... По ходу дела ребята слегка повеселели.

Нежданно пошел дождь, клуб потек — концерт погас. На выходе голубоглазый крохотный пацаненок сунул папе



Папа Женя на работе, конец 50-х.

Жене записку: “Я глухонемой, прошу печенья и защепки для белья...”

Папа Женя суетливо полез за деньгами.

— Не надо! — одернула его Ирина и показала пальцы на пальцах, чтобы не приставал.

Она отвела папу Женю в сторону и что-то ему сказала. Папа Женя побледнел и заторопился домой. Я окликнул Макса:

— Познакомься с папой Женей!

— Спасибо... папа Женя, — сказал Макс. — За сало.

Вечером позвонил папа Женя и срывающимся голосом попросил меня больше в тюрьму не ходить. Ирина сказала ему, что я в эйфории, я не адекватен, может, что-нибудь произойти непоправимое. А про глухонемого рассказала, что он изнасиловал второклассницу, испугался, что расскажет, и палкой выдавил ей глаза. Убежал, вернулся и на всякий случай перерезал ей горло.

— Не ходи больше в тюрьму, сынок.

С трубкой в руке я подошел к зеркалу: мне пятьдесят. Я лысый, знаменитый. Кто еще меня учить будет! Я сам всех могу научить!

— Хорошо, папа. Я подумаю.

Завещания отец не оставил. Я опасался склоки с сестрой из-за невеликого наследства: квартира, скарб, коллекция открыток, которую начала собирать еще прабабушка. Но раздора не вышло. В памятке на двери шифоньера значилось:

Носки парные, носки разрозненные — вторая полка.

Пальто зимнее перелицованное без воротника — в шкафу.

Пальто кожаное меховое Левино, соболья шапка — фанерный баул на антресолях. Письмо — под сорочками.

В письме:

...Квартиру и открытки продать и поделить поровну. Чур, не жулить! Открытки желательно — в одни руки (так просила бабушка Саша). Левино меховое пальто — Макс, когда выйдет.

И схема родственной могилы на Ваганькове, куда захоронить его урну.

В старинном дубовом шкафу с цаплей на одной ноге, державшей в клюве виноградную гроздь, как всегда, был полный набор — коньяк, вино, дорогой шоколадный набор, подернутый седinou, престижное курево, хотя сам папа Женя не курил. В холодильнике: красная икра-перестарок розового цвета, окаменевшая сырокопченая колбаса, водка из прошлого века..

Смерть папа Женя допускал у других, своей же — сторонился. Он практически не болел и к чужим хворям относился скептически. Пока человек не умирал. Вот тут он вставал в полный рост, отодвигал меня, профессионального могильщика со связями, и все черные хлопоты брал на себя.

Когда меня в 9-м классе выгнали из школы, он устроил меня в платный экстернат для взрослых и в конструкторское бюро, где работал. Я думал, что он чертит на кульмане, но, оказалось, он проверял чертежи. Я стеснялся его и жался к настоящим конструкторам. Папу Женю это не задевало, у него напрочь были атрофированы ревность и зависть. Более того, он даже преувеличивал заслуги коллег. Но зато папа Женя вер-

ховодил на вечерах с лотереями, шарадами, переодеваниями в женское платье и анекдотами из потайной записной книжки.

Однажды его выбрали освобожденным профоргом. У папы Жени вдруг появилась незнакомая мне ранее спесь, изменился тембр голоса, добавился начальственный росчерк в подписи. Слава богу, бюрократ он оказался никудышный, дармовые путевки распределял без согласования с начальством — его переизбрали.

Много лет мне мешало любить отца то, что он не воевал: учился в институте и на фронт не просился. Хотя сам рассказывал, что в военкомат стояла очередь, как в застой за водкой. Сейчас я думаю, а рвался бы я на ту войну по своей воле? Чтобы обязательно быть убитым, как убило всех вначале, кого смертью, кого пленом, кого после войны тюрьмой за плен? И за кого?! За усатую рябую нерусь с гунявой трусливой камарильей?

Всю жизнь папу Женю беспокоили мои некачественные товарищи.

— Не с теми дружишь, сынок, — вздыхал он, переживая, как бы я в конце концов, когда товарищи сгорят от вина, не оказался в одиноаре.

Он хотел, чтобы я дружил с дядей Толей, который уже давно был полковником. Дядю Толю я любил с детства. Мне нравилось, как он разминал изящными, как у Печорина, пальцами папиросы “Герцоговина Флор”, как выпивал всегда ровно четыре рюмки водки, а самое главное, безропотно давал мне, предварительно вынимая обойму, пистолет, который носил при себе во внутреннем кармане двубортного пиджака. Ему разрешалось носить оружие.

Папа Женя показывал мне своих красивых, веселых, непроблемных тетей, слегка траченных провинциальностью,

навещавших его в Москве, — прививал вкус. Он вербовал их в пансионатах, домах отдыха, на турбазах — всюду, куда мы с ним летом ездили отдыхать.

На Селигере я в плавках забрался на 8-метровую вышку — любозреть дали. Папа Женя внизу в костюме с галстуком выгуливал под ручку двух дам в кримпленовых платьях.

— Мой сын! — похвастался папа Женя. — Пловец. Первый разряд.

Я оцепенел. Разряд, благодаря Нине Семеновне, у меня когда-то был, но — юношеский, то есть никакой. Дамы внизу призывно захлопали: “Просим — просим!..” Я с ужасом понял, что спуститься вниз ногами по крутой лестнице уже нельзя. Ненавидя папу Женю, я прыгнул. Отбил все. Лежал на воде не шевелясь, как медуза, вздохнуть не мог — ждал смерть.

— Молодец, Серьга! — кричал папа.

— Молодец, Серьга! — вторили кримпленовые тети.

— Ничего хорошего, — мрачно сказал пожилой дядька в шортах, со шкиперской бородкой, похожий на профессора. — Спину мог сломать.

Дядька действительно оказался профессором и капитаном маленькой двухпарусной яхты — швертбота, на которой он только что вернулся из кругосветного путешествия по Селигеру. Он видел мое геройство, и папа Женя легко уговорил его взять меня в следующее плавание.

Швертбот, накренясь, неделю бесшумно носился по Селигеру навстречу ветру, солнцу и счастью... Шипящая вода

за бортом, убаюкивая, почесывала бока яхты... Я загорал на носу, читая "Трех товарищей" Ремарка, и обожал папу Женю. Это был последний наш с ним совместный отпуск — я перебирался в другой возраст.

Спустя годы я попытался в санатории повторить его опыт курортного Ловласа, но ничего из этого не получилось: все дамы были глубоко пенсионные, обремененные болезнями. Лишь одна очаровательная миниатюрная барышня с ямочкой на щеке, стриженная под седого ежика, обратила на меня внимание, но оказалась лесбиянкой и умоляла меня на коленях, чтобы я, используя свой писательский статус, свел ее с солисткой филармонии Кисловодска, которая пела по средам в столовой нашего санатория после ужина.

Но одного своего товарища папа Женя скрывал от меня всю жизнь — артиста Михаила Глузского, с которым учился в школе. Наконец я был приглашен на бенефис Михаила Андреевича — восемьдесят лет. Опаздывал. Звенел третий звонок..

— Я Сережа Каледин, сын Жени Беркенгейма! — рванулся я к пожилой даме, по всей видимости, жене Глузского, протягивая руку за пригласительным билетом.

— А кто такой Женя Беркенгейм?!

— Папа мой! — опешил я. — Евгений Александрович Беркенгейм... Они с Михаилом Андреевичем на одной парте сидели...

— На одной парте с Михаилом Андреевичем сидел наш друг Женя Щёкин, — раздраженно отчеканила дама. — Он уже в зале. Вы кто?

Выяснилось: папа семьдесят лет на всякий случай таил от знаменитого друга свою настоящую сомнительную фамилию, называясь нейтральной фамилией бабушки Саши.



Можайская детская воспитательная колония, 2004 г.

Отец читал мало, но меня одолевал, потирая уставшие глаза под очками. Итогом всегда было опасение, что на меня обрушатся кары властей — за скрытую антисоветчину.

После окончания экстерната я поступил в институт связи к товарищу папы Жени — декану. Правда, со второго курса я сбежал в армию за солдатской дружбой и возмужанием. Когда я стал в стройбате доходить и прощаться с жизнью, он откопал в Москве старого еврея — основоположника Ангарска, на окраине которого притулился наш свирепый 698-й ВСО. И ученик еврея, командир дивизии, перевел меня в штаб чертежником. Благодарениям папы Жени несть числа. Почему-то я все воспринимал как должное — без благодарений, до которых так охоча была его нетребовательная душа. Может быть, потому, что первый толчок к действию ему всегда давала мама Тома, он лишь тщательно исполнял ее пожелания.

— А чего ты с ним все-таки развелась? — спросил я как-то ее.

— Маловат он для меня стал.

Но перед смертью успела покаяться:

— Прости, Женька. Спасибо тебе за все. Дети-внуки тебя любят. Только вида не показывают — моя вина: не научила. Но ты не зазнавайся, помни, что все равно ты сволочь.

— Почему, Тома? Приведи пример.

— Пожалуйста.. — Мама Тома начала было вспоминать, но ей тут же стало скучно. — Да ну тебя к черту!..

А вот я покаяться перед папой Женей за то, что рано потерял к нему интерес и один раз на него даже замахнулся за мелкое вранье, так и не успел.

Выйдя на пенсию, папа Женя устроился лифтером в больницу. В белом халате поверх костюма с галстуком командовал служебным лифтом с лязгающими решетками. Но лифтом не ограничивался, бескорыстно развозил каталки с немощными. Врачи в нем души не чаяли, страстно желая полечить. Нашли у него сердечную недостаточность и уложили... Прошел месяц. Папа Женя, человек абсолютно здоровый, но мнительный, уверившись, что серьезно болен, на глазах сходил на нет. Потерял аппетит, скорбно глядел в потолок — прощался с жизнью. Под видом посетителя я привел своего товарища-врача. Тот прошептал: “Домой немедленно — уморят”. Врачи наотрез: “Если вы его заберете, мы его потеряем!..” Папа Женя в дебатах не участвовал, осеняя нас вялой исхудавшей рукой: “Не надо спорить, мои дорогие...” Редко о нем так заботились. Наперекор врачам мы усадили его в машину.

Первым делом он съел тарелку харчо и попросил добавки.

— А винца? — предложил я.

— Лучше — водочки, — все еще безжизненно прошеле-стел папа Женя.

Два дня он еще “поболел” по инерции, принимая обеспокоенную родню с визитами, на третий — вылечился.

У Макса Голикова умерла мать, тюремная жена-горемыка. Шатохин отпустил его на похороны под надзором Ирины. Ирина принесла ему одежду сына. Белую Крысю Макс оставил на попечение Коли Сарафанова.

Хоронил, как водится, папа Женя, я лишь дал денег. Облезлая однокомнатная квартира на Щелковской, элек-

тричество отключено за неуплату. Красный гроб на столе... Зеркало в пошарпанном шифоньере завешено полотенцем. На продавленном диване из засаленной подушки без наволочки торчали остья. На похороны пришла соседка с вялыми гвоздиками и два другана Макса, которых он на суде отмазал, взяв вину на себя.

Когда стали выносить гроб, он предательски заскрипел..

— Сэкономил? — прошипел я папе Жене на ухо. — Развалится.

— Других не было, — без заминки соврал он.

— Папа Жень, а что надо говорить на похоронах? — тихо спросил Макс.

— Можно — ничего, сынок.

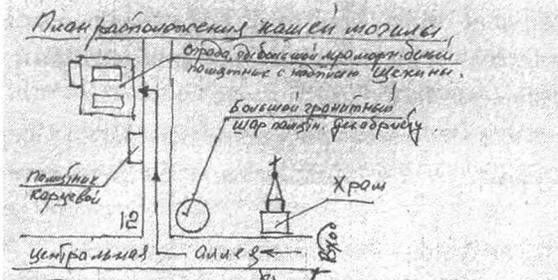
На следующий день мы возвратились в колонию.

— У тебя УДО на носу, — напомнила Максу Ирина. — Веди себя хорошо.

Но ее напутствие оказалось зряшным. Макса в колонии встретила беда. Его отрядный, прыщавый лейтенант-недомерок, приказал Коле Сарафанову выставить белую Крысю на бой против Крысюка, чемпиона зоны. Крысюк победил без драки — Крыся умерла от страха. Макс похоронил Крысю в цветочной клумбе, поставил крестик, избил Колю Сарафанова и сломал отрядному нос.

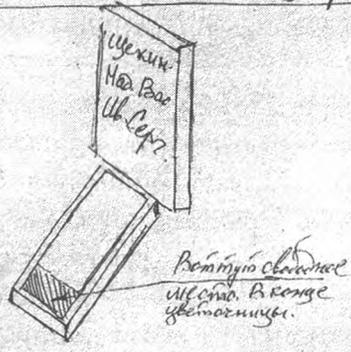
Дело замять не удалось. Максу добавили срок. Шатохину припомнили былые заслуги и отправили на пенсию. Ирине дали понять, что и ей тоже пора “с вещами на выход”, — она уволилась. В зону меня больше не пускали.

Когда-то я купил маме однокомнатную квартиру на Коровинском шоссе. Она доживала в охотку, любясь индустри-



Ограда, где работает пром. артиллерия Шеховиным находится в конце сарая (дальше идет пашин. сарай, его видно из окна).

Место в цветочнице, где можно захоронить урну



Последняя страница "завещания" папы Жени.

альным пейзажем: вдалеке парили градирни, скрежетали экскаваторы, по Окружной бежали крохотные машинки...

На высоченном тополе против ее балкона свила гнездо ворона. А тут некстати вернулась зима, пошел снег. Ворона, поспешившая снести яйца, сидела на них недовольная, запырошенная снегом. К ней прилетал муж — приносил корм. Мама с тревогой наблюдала за птичьим семейством. Папа Женя привез семечки — мама Тома привадила кормильца. Он прилетал на балкон, требовательно каркал. Мама открывала дверь в комнату, семечками делала дорожку внутрь — тот заходил погреться-погадить и, сытый, улетал с монеткой в клюве.

Потом мама Тома заболела и захотела поближе к дочери, внучкам...

И папа Женя снова отличился. Больше всего ценя уважение бывшей жены, он взял низкий старт и сменял мамину однокомнатную железобетонную квартиру на двухкомнатную в кирпичном доме возле метро Аэропорт, по соседству с дочерью. Без доплаты!!! И продолжил пасти маму Тому до конца. Делал ей творог для диеты: квасил молоко, переливал, отцеживал и каждый раз изумленно изучал выход продукции — получалась кроха.

Но и чудо-операция с обменом оказалась не последней. Он вошел в раж. Ему шел восемьдесят третий год, он шутливо поговаривал о финише. В то время мы с женой и сестра с семьей теснились, взаимно недовольные, на даче под Можайском. Папа Женя поглядел, послушал наши распри, взял у меня отступного за сестрину часть участка и купил ей другую дачу — в Вербилках. Я помогал с переездом. Дачка была не ахти, сестра скорбно поджидала губы.

Мы с зятем корячились с холодильником, как вдруг за спиной звонким знакомым голосом Олега Ануфриева зазвучала песня: “Парохо-од белый, бе-еленький, черный дым над трубо-ой. Мы по палубе бе-егали, целовались с тобо-ой...”

Я обернулся и выронил холодильник... По прозрачному сосновому бору за полем действительно плыл белый пароход!.. Я кинулся смотреть. Трехпалубный “Михаил Калинин” по каналу “Москва — Волга” пилил в Астрахань. Я протяжно взвыл: “Хочу-у!.. Меняюсь!..”, но сестра уже въехала в тему — вцепилась в дачу. Папа Женя ликовал.

А осенью он поехал к отдаленной родственнице заклеивать окна и на подоконнике легко умер от разрыва аневризмы аорты.

Я орал: “Винни Пух сраный!.. Хлопотун Полоний... Куда поперся?.. Какие, на хер, окна!..”

Девяностолетняя тетя Зоя, которую папа Женя в письме-завещании категорически велел в богадельню не сдавать, увязалась с нами в крематорий, но не разобралась, куда съездила, улыбалась: “А я не поняла, у кого мы в гостях были?”

В похоронной суете я наткнулся на странную сумку: шерстяные носки, кальсоны, чеснок, сгущенка, чай, сигареты... Потом догадался: он собирался к Максиму в Тамбов на взрослую зону. И, как всегда, — тишком.

В гробу папа Женя выглядел франтом. В синем блейзере с золотыми пуговицами, который я привез ему из Англии и который он при жизни не носил — берег на достойный случай. И — улыбался, не сомневаясь, что прожил жизнь лучше всех.

“Каледин придумал новый жанр...”

Рассказы, которые собраны под этой обложкой, впервые встретились читателям на страницах журнала “Огонек”. Начиналось это так. Я позвонила Сергею Каледину с просьбой написать что-нибудь для журнала. Дозванивалась долго — Каледин жил где-то глубоко в Подмосковье, то сигнал терялся в пространстве, то никто не снимал трубку. Наконец меня постигла удача — писатель отозвался. Выслушав меня, он вздохнул:

— Ну и что вам написать? Я уже про все рассказал. И вообще я живу в деревне... Да, кстати, если вы некрасивая и очкастая, то писать не буду.

Я поняла, что сейчас он положит трубку и второго разговора не будет.

— Ну напишите про это... Вот про то, почему вы живете в деревне.

— Ладно, — неожиданно согласился он, — про это напишу.

Через полгода он появился в редакции с рассказом и ананасом. Рассказ так и назывался “Почему я живу в деревне”. Появлению Сергея предшествовали долгие телефонные переговоры — он писал и переделывал текст. Потом читал вслух и переделывал. Потом рассказ читала жена, и Сергей, прислушиваясь к звучащему слову, перекраи-

вал, переворачивал, вычеркивал уже готовые строчки. Зато после этого каждая его фраза звенела как бубен — в ней не было ни лишнего звука, ни посторонней интонации. Я наблюдала за этим, как за работой часовщика, — в наше время слова и тексты рождаются быстро, писателей легионы, некоторые присылают в редакцию свои произведения, не удосужившись проверить грамматические ошибки.

Так возник мир, в который вошел читатель этой книги Сергея Каледина. Мама Томочка, папа Женья, сын, теща-ингерманландка, соседи по деревне, обитатели Можайской подростковой колонии, дружки-подружки..

— Каледин придумал новый жанр, — всякий раз, прочитав его новый рассказ, говорил редактор “Огонька” Виктор Лошак. — Из живых людей извлекает литературу.

Не просто литературу. Как в Венеции каждая свая, вбитая в илистое дно, — часть этого города и его истории, так и с каждым героем Сергей отстраивал свой мир, свою Йокнапатофу, населенную людьми, имеющими совершенно особые, но единственно возможные в его космосе взгляд на мир и логику поведения.

У него почти нет молодых героев. “Пациент” Каледина — изуродованный жизнью и родной историей титан. Битый, обобранный, преданный, смешной, часто вздорный — и абсолютно величественный в упорстве прожить жизнь по своей правде, в неприятии пошлых законов, по которым “весь мир крутится”. Таких людей сейчас не делают. Мы с ними встречаемся иногда случайно и запоминаем навсегда, подозревая, что они-то и есть та самая “соль земли”. Каледин отыскивает их с упорством кладоискателя и помещает под увеличительное стекло писательской оптики.

Если понадобится когда-нибудь памятник той эпохе, из которой мы все вышли и которая теперь ушла навсегда, оставив воспоминания, анекдоты, письма и фотографии в ящиках комодов; если когда-нибудь кто-то захочет понять, что

за люди населяли ту страшную страну и то плотное время, какие страсти надрывали их душу и давали силы жить и умереть не в стыде; если понадобятся доказательства того, что литература не кончилась в стране с полной и окончательной победой денежных знаков над прочими ценностями, то полезно будет взять с полки эту книгу Сергея Каледина.

ЕКАТЕРИНА ДАНИЛОВА

CORPUS 242

СЕРГЕЙ КАЛЕДИН

ЧЕРНО-БЕЛОЕ КИНО

Рассказы

16+

Главный редактор ВАРВАРА ГОРНОСТАЕВА

Художник АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

Ведущий редактор НАТАЛЬЯ БОГОМОЛОВА

Ответственный за выпуск ОЛЬГА ЭНРАЙТ

Технический редактор ТАТЬЯНА ТИМОШИНА

Корректор ОЛЬГА НАРЕНКОВА

Верстка АНДРЕЙ КОНДАКОВ

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.

Подписано в печать 13.08.13. Формат 60×90 1/16

Бумага офсетная. Гарнитура *OriginalGaramondC*

Печать офсетная. Усл. печ. л. 21

Тираж 3000 экз. Заказ № 7816.

ООО «Издательство АСТ»,

127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

По вопросам оптовой покупки книг обращаться по адресу:

123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, БЦ «Империя», а/я №5

Тел.: (499) 951 6000

Отпечатано с готовых файлов заказчика

в ОАО «Первая Образцовая типография»,

филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Когда меня спрашивают, кто мои учителя, я всегда отвечаю: Сергей Каледин. Я действительно очень люблю этого писателя за его редкий слух к живому языку, его переливам, поворотам, шероховатостям. Видение и слышание жизни, полное отсутствие нравоучительности, добродушное остроумие и незлобивое хулиганство — чудесные обаятельные черты его прозы. И его личности. Две ипостаси одного человека — писательская и человеческая — полностью слиты, и оттого рождаются и искренность, и полнота.

Людмила Улицкая

...Он совсем не подает себя писателем. Умная деталь, ничего лишнего, и кажется иногда, что эти маленькие саги правдивее самой жизни.

Виктор Голышев

Сергей Каледин родился в Москве, учился в Институте связи, потом в Литинституте, служил в армии, затем работал сторожем, могильщиком, кочегаром в церкви. Литературная известность пришла к нему после публикации в “Новом мире” повестей “Смирненное кладбище” и “Стройбат”. Его книги переведены на многие языки, они включались в школьные и институтские программы, привлекли внимание кино- и театральных режиссеров.

Все сочинители используют свою жизнь в качестве каркаса своих сочинений. Материал может быть любой — саманные кирпичи диалекта, железобетон нормативной прописи, хорошо просушенный брус архаики или ломкий пластик эксперимента, но каркас — всегда твоя собственная, неаккуратная, какая уж получилась жизнь. А вот Каледин написал книгу о других — о родственниках, знакомых, собутыльниках, едва ли не просто о прохожих. Он пошел на риск, потому что, когда пишешь не только о себе, есть большая вероятность проколоться и наврать — но он не прокололся и не наврал. Он описал своих близких, а получилось, что все человечество... Помните, что об этом сказано? Возлюби, как самого себя. Каледин и возлюбил. И потому написал такую честную книгу. Пожалуй, он единственный известный мне писатель, который способен написать не только о себе.

Александр Кабаков

